



Дружба народов

7/2025



В номере:

Отражённое пламя

«Ковбои тундры и последние кочевники Севера», — так называют эвенов за то, что ездят на оленях верхом и метко стреляют. Эвены проникли в Сибирь с азиатского юга тысячелетие назад. В поисках земель, пригодных для пастбищ, дошли в XVIII веке до Камчатки и осели в долине Срединного хребта. Возможно, именно в силу миролюбия они глубоко прониклись православием. С приходом большевиков одна большая семья бежала в горную тундру вместе с оленями и святынями. И вернулась в родное село только в 1962-м, когда их обнаружили с вертолётов... Об этой семье, её сыновьях и внуках, роман Владимира ЛИМА «Последнее кочевье». Начинается он с того, что небольшой отряд эвенов и их русских друзей отправляется по таёжной медвежьей Тропе, чтобы развеять над рекой возле родового стойбища прах погибшего на СВО сына вождя племени. На их пути встают вооруженные бандиты и браконьеры...

«Счастья выговаривая слово»

Цикл «Стихи о русских поэтах» — своеобразная портретная галерея, которую продолжает Константин КОМАРОВ (начало — в «ДН» №3, 2023 и №11, 2024). На этот раз адресаты его стихов — поэты второй половины XX и начала XXI века: Глеб Горбовский, Виктор Соснора, Николай Рубцов, Владимир Высоцкий, Александр Башлачёв, Александр Ерёменко... В раздумчивой лирике Германа ВЛАСОВА тесно переплетаются реалии современности: «поле пуля волны горя» — с темой судьбы: «участь сопрягаем, запрягаем. / Пишем, дышим, тишину едим». Обращаясь к вечной теме жизни и смерти, Евгений ЧИГРИН в подборке «Пленники под переплётом» рассуждает о судьбе книг: «И будет та свалка мотать / Во тьме головой Марка Твена, / Дюма и Стендаля листать».

О понимании и преодолении

«Книга, на самом деле, трудная. Можно даже сказать — трагическая, есть основания и для этого», — в рубрике «Библионавтика» Ольга БАЛЛА пишет о книге Владимира Коркунова «Я говорю: Беседы со слепоглухими людьми о жизни, творчестве и силе духа». «Они честно говорят о своих трудностях и страданиях — но лишь постольку, поскольку этой темы вообще не миновать. И без драматизации — настолько, что впору подумать, что эти люди вообще существенно конструктивнее среднестатистических нас, видящих-слышащих».

История XX века на языке цирка

На этот раз Борис Минаев размышляет о представлении не театральном, а цирковом: «И100рия» в Большом цирке на Вернадского. «Цирк в этом шоу говорит нам простую вещь — всё пройдёт. ... "Тяжёлые времена" не вечны, так же как и "эпоха надежд" не вечна тоже, "парад физкультурников" уступит место концерту Пола Маккартни на Красной площади, вера в инопланетян — ожиданию климатического коллапса, неизменным останется лишь прыжок в тревожную пустоту без страховки и игра волшебными шарами».

Дружба народов



**Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Редакционная коллегия

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

**E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.com>**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»;
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.05.2025.
Подписано в печать 23.06.2025.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отг. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ . Цена свободная.

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Леонид
БАХНОВ
Ирина
ДОРОНИНА

Ответственный секретарь Елена
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА
Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЕВ

Редакционный совет

Мария
АНУФРИЕВА
Сухбат
АФЛАТУНИ
Муса
АХМАДОВ
Ольга
БАЛЛА
Дмитрий
БИРМАН

Денис
ГУЦКО
Фарид
НАГИМ
Илья
ОДЕГОВ
Валерия
ПУСТОВАЯ
Ренат
ХАРИС
Александр
ЧАНЦЕВ
ЭЛЬЧИН



ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Константин КОМАРОВ. Из цикла «Стихи о русских поэтах»	3
Владимир ЛИМ. Последнее кочевье. <i>История вымышленная, но правдивая</i>	11
Герман ВЛАСОВ. Счастья выговаривая слово. <i>Стихи</i>	74
Александр КИРОВ. Круги своя. <i>Рассказы</i>	78
Анна ШИПИЛОВА. Птичка-невеличка. <i>Рассказ</i>	123
Мария ЗАТОНСКАЯ. Отменяя тяжёлую речь. <i>Стихи</i>	132
Алексей КОЛЕСНИКОВ. Звериная сила великой любви. <i>Рассказ</i>	135
Максим ГУРЕЕВ. Святая гора. <i>Рассказ</i>	150
Андрей ОБОЛЕНСКИЙ. Консьержка. <i>Рассказ</i>	168
Евгений ЧИГРИН. Пленники под переплётом. <i>Стихи</i>	183
Дарья АНДРЕЕВА. Триптих	186
Елена АЛБУЛ. Счастливый характер. <i>Рассказ</i>	203
Олег РЯБОВ. Зачем стрелял. <i>Рассказ из цикла «Жмуркин и Криворотов»</i>	222
Максим ГЛАЗУН. Правила игры. <i>Стихи</i>	228

МАЛЕНЬКИМ КАРАНДАШОМ

Павел ЮРЬЕВ. Австрийский инцидент. <i>Из записок отечественного путешественника</i>	230
---	-----

ДРУЖБА НА ВЫРОСТ

Асель ИСКАКОВА. Очищение огнём. <i>Рассказ</i>	232
--	-----

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА

Дмитрий ЯКУШКИН. Руновский переулок	238
---	-----

ПОДРОБНОЕ ЧТЕНИЕ

Александр МАРКОВ. Несожжённые письма (<i>Н.Иванова. «Судьба и роль»</i>)	247
--	-----

КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ

Кирилл ЯМЩИКОВ. Отщепенцы удали (<i>Э.Веркин. «Сорока на виселице»</i>)	253
Павел ПОНОМАРЁВ. «Папа и я, за нами Пинега» (<i>В.Заборцева. «Пинега»</i>)	256
Татьяна ВЕРЕТЕНОВА. «Один из многих голосов» (<i>А.Соболев. «Сонет с неправильной рифмовкой»</i>)	259

БИБЛИОНАВТИКА

Ольга БАЛЛА. Важнее литературы (<i>В.Коркунов. «Я говорю: Беседы со слепоглухими людьми о жизни, творчестве и силе духа»</i>)	263
---	-----

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Да здравствует цирк!	269
--	-----

SUMMARY	272
----------------------	-----

Константин Комаров

Из цикла «Стихи о русских поэтах»

Горбовский
(1931)

Плавит зренье зоркое
юная страда —
детство беспризорное,
радость и беда.

Но несёт и семечко
пыл земных корней.
Траченого времечка
вольный дух сильней.

Он души усилия
претворяет в звук.
Плачет море синее
из горячих рук.

Стоит растеряться, и
будет недолёт,
только христианское
сердце не даёт.

Битву зафиналили,
зло гниёт в золе.
И горят фонарики,
как свеча во мгле.

Комаров Константин Маркович — поэт, литературный критик, литературовед. Родился в 1988 году в г. Свердловске. Окончил Уральский федеральный университет им. Б.Н.Ельцина. Кандидат филологических наук. Публикации в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Урал», «Звезда», «Нева», «Новый мир», «Вопросы литературы» и др. Автор нескольких книг стихов и сборников литературно-критических статей и рецензий. Участник Форума молодых писателей «Липки» (2010—2023) и семинаров АСПИР. Победитель «Филатов-феста»—2020, лауреат премии «Восхождение» (2021) и др. Живёт в г. Липецке.

Рубцов
(1936)

Лежит, как белая кровать,
простор, что сам себя не ищет.
Готово взгляд очаровать
гнилое лодочное днище.

И одухотворён погост,
и нету ничего священной,
чем беспредельных русских звёзд
сквозь слёзы тихое свечение.

Морозным полнятся поля
сиянием, что не растает.
И воскресает вновь земля,
и к небу тянется — крестами.

Легко, увидев, обомлеть:
из сердца ведь — не от ума, нет —
встают виденья на холме
в молочном плещущем тумане.

И льдом пока их не свело,
поют Печора и Онега.
И в горнице души светло
от набегающего снега.

Соснора
(1936)

Речи позвоночная основа —
колокола твёрдые бока,
олово расплавленного слова —
словно мёд солдату языка.

Музыка, зная, в пальцах раззудилась,
наполняет их беззвучный хруст,
кожа нагревает стылый стилос,
далее уже — в уста из уст.

Над Парижем пролетит фанера,
победит разбойник соловья,
вздрагнет онемевшая фонема —
зазвенит, литое соло вя.

Полоснёт из ротовой утробы
лязг футуристической трубы,
и трамбует древние сугробы —
белизны наглядные гробы.

Но не смерти масляная похоть
в глухоте пылает торфяной,
а трофейный выстуженный хохот,
лучевой натянутый струной!

Высоцкий

(1938)

Накроют зал аплодисменты,
как ядерный громадный гриб,
ведь хрип бывает не предсмертным,
бывает полным жизни хрип.

Так значит — ухнем, если дух нем,
как после баньки — мордой в снег,
чтоб вырыдать надрыв по кухням,
чтоб слышал каждый человек.

Но голос, уходящий в штопор,
летит на свет иных огней,
как паруса иглой ни штопай
и медлить ни моли коней.

Когда земные сроки вышли —
быть иль не быть — ответ в конце:
раз есть что спеть перед Всевышним,
Он вызывает на концерт.

А в сердце плещется догадка,
что стала слепком всей страны
осиротевшая Таганка
под нервом лопнувшей струны.

Аронзон
(1939)

Будто длань из кармана, из снов вынимается даль,
обнажает язык не присущую памяти хрупкость,
но плавнее ладьи на проспект выплывает февраль —
с головой не в ладах и простуженный по-петербургски.

Преломляя лучи и не требуя громких речей,
принимая как есть чистоту плотских помыслов зверских,
словно с деревом лист, совпадает с теченьем ручей —
как привычно ему безмятежное визионерство!

Хорошо подойти, посмотреть на орешник густой,
об изнаночном рае когда говорить порешился,
заплетается голос и вязнет во фразе простой —
слёзной влагой души посреди отрешённого смысла.

Тишь и благодать молчанья со словом, продетым в него,
размывает на слух под мостом затаившийся мистик,
и, впустив пустоту, провисает туман над Невой,
отражая беспочвенность местностей этих холмистых.

Травянистого шума в прозрачную песню плесни,
вызывая тепло, чей запас в междустрочихах мглился —
и проявится в коде несущий прощенье лесник,
приберегший для эха свой развоплощающий выстрел.

Губанов
(1946)

Поэту плохо. Вы резвитесь,
сбиваясь в мёртвую толпу.
Психушка или вытрезвитель
подносят ко хмельному лбу

услужливый холодный кафель,
но разве станешь тут трезвей,
когда поэзии потрафил
отрывистый зелёный змей?

Бездонно водочное лоно —
на ноль делённая петля.
И всё же неуклонно, Лёня,
ты гибель кличешь на медяк.

Пока слова не заалели,
накатывая, валит с ног,
мгновенная, как озаренье,
лихая рифма к слову «смог».

И далеко, за чёрным граем,
в краях, где больше нету вас,
на собственных костях играет
поэт свой не умолкший вальс.

Ерёменко (1950)

Шифруясь, словно крэка дилер,
прочерчен путеводный луч
к бюро ремонта крокодилов —
с изнанки вывернутых туч.

Жужжат приборы разной масти,
прокусывает свет москит,
настраивает зренье мастер,
и глаз во лбу его искрит.

Он тело лёгкое таскает
из края в край, и не впервой
вотще дубинка ментовская
дубасит воздух кормовой.

Лук виденья шершав и репчат,
но быстро сходит шелуха
со слов, что лютой водки крепче
и майского нежнее мха,

где, ветром движимый камчатским,
весь алфавит гудит в трубе,
решивший быть и не кончаться,
как лучший памятник себе.

Парщиков
(1954)

Томится в фотографии фотограф,
пленённый плёнкой, как пейзаж в реке,
так инобытия сквозит автограф —
измысленным ребёнком в старике.

И — весь в разводах нефтяной финифти —
невыстроенной проруби прораб —
статично, точно лифт, застрявший в лифте,
уводит в минус угнанный корабль.

Поддавшись слепоты немой угрозе,
глазные яблоки в сухой листве висят,
и вечно обесцвеченная осень
спускается на дружественный сад,

Но сколько плоскость света не прессуйте,
в хрустальном тупике кипит вода
и зрение присутствует при сути,
отсюда взгляд за ручку отводя —

который, вызревая кропотливо,
раскрутится трепещущей пращей
и вылетит из дула объектива —
к себе необратимо обращён.

Башилагёв
(1960)

Веры варево клокочет
словом ливневым твоим.
Расцветает колокольчик
в сердце — звоном листовым.

Голос в пыль сотрёшь, молясь, но,
все перекроив края,
режет бешеная ясность
злое мясо бытия.

Задохнуться очень просто,
если свой шесток — жесток,
а нейронов перекрёсток
разомкнулся в кровосток.

Да какой тут, к чёрту, отдых,
в роковой пучине волн,
раз к гитаре признан годным
рядовой — из ряда вон.

И под струн ложится розги
боль, не сданная внаём.
Ленинградский свет неброский
заполняет окоём.

Летов

(1964)

Гневно ор в гортани зреет,
тащит тщетность вечный Омск,
и кислотные прозренья
прожигают скользкий мозг.

Выгорает горем лето,
споро вспорот сладкий труд,
пальцы мысль без пиетета
за эпитеты берут.

Вот и отоварен автор
рвотой в сердце живота.
В жилу слава психонавтам,
если слева — правота.

Нам зеркальные личины
пролепечут, где нас нет,
хоть следов неразличимость
тяжело свалить на снег.

Но оплавленный в оправу
сон сияет за стеной.
И заплыв идёт по плану
в чёрной речке нефтяной.

Новиков
(1967)

Предвещает поимку на слове
языка копошащийся мох,
но себя не поймает на сломе
отсыревших петардных эпох.

Видеть затемно свет — кара оку,
облака отражает река,
и блатное звучит караоке
из забывшего стыд кабака.

Ручка речи сработана чисто —
значит, время сниматься отсель,
и тогда клонит в сон уклониста,
и зовёт травяная постель.

На флэту каменеют матрасы,
напоследок разлито по сто,
хоть открыты небесные трассы,
да заехал болид на пит-стоп.

И не скажешь, что тут нелюдимо
зябнет смертного дня минарет,
растворяясь, как облачко дыма
иноземных твоих сигарет.

Владимир Лим

Последнее кочевье

История вымышленная, но правдивая

Не думайте, что Я пришёл принести
мир на Землю, не мир пришёл Я принести,
но меч...

*10—34, Евангелие от Матфея,
1 век н.э. (41—55 гг.)*

Часть первая

Женщина в купальне

Афганский синдром — посттравматическое стрессовое расстройство, тесно связанное с ощущением собственной беспомощности из-за невозможности эффективно действовать в опасной ситуации.

Главное управление воспитательной работы Вооружённых сил РФ, 1991 год.

1

Полгода он собирает фотографии, документы, копии наградных листов, приказов, телевизионные сюжеты, рассказы сослуживцев, родственников, матерей, отцов. Исповеди о сыновьях. Об их мальчиках, погибших на войне. О тех, кто уже никогда не вернётся. Не женится, не продолжит свой род, не состарится, не похоронит своих родителей. И они умрут в одиночестве, разорвав бесконечную череду рождений и перевоплощений. От Адама или, после очередной гибели человечества, — от Ноя, его сыновей: Сима, Хама и Иафета, взрослых на склонах

Лим Владимир Ильич — прозаик, журналист. Родился в Камчатской области в 1948 году, окончил Литературный институт (семинар Ю.В.Трифонов), работал в «Комсомольской правде». Первая публикация — повесть «Коса» — в журнале «Октябрь» (1975), Автор книг «Горсть океана» (1989; переиздание 2015), «Цунами» (2022). Лауреат премии «ДН». Живёт в Петропавловске-Камчатском.

Предыдущая публикация в «Дружбе народов» — роман «Пылающий» (2023, № 9).

Арарата. По «Повести временных лет» — от младшего, от Иафета, от него — яфетиды, а от них — фряги: славяне, финно-угры и народы Западной Европы.

Он почти закончил эту свою работу. Осталось ещё одно камчатское село — Эссо, что значит — «лиственница» по-эвенски.

Но не закончилась война, и герои продолжают умирать. И растут только кладбища.

В городах героев хоронят на аллеях ветеранов, рядом с солдатами Отечественной и Афгана, а в сёлах — с краю, но рядом, друг возле друга. Как на войне.

Московские, петербургские, калининградские, смоленские, пермские, бурятские, приморские, якутские, камчатские... Вся страна. Вместе воюют, вместе лежат. На кладбищенских аллеях. Под чёрными гладкими, как лёд, мраморными плитами, под поникшим триколором.

Было очень трудно, даже ему, ветерану Афгана, повидавшему много смертей. А может, именно потому, что повидал?

Он приходил сразу после похорон или до них, если *они*, в цинковых гробах, были ещё в пути, в полёте, в багажном отделении *боинга* или в военном транспортном Ил-76 — среди обрешётки с сантехникой и электроплитами для городка подводников.

А он был одним из гонцов, одним из причастных к *их* гибели, кого присылают после всего увековечить *их* память.

Родственники: беззащитные матери, часто без мужей, младшие испуганные братья, тётки, бабушки смотрели на него как на ангела смерти. Или всадника Апокалипсиса.

Глаза их не верили, просили вернуть. А отцы уводили от всех — в сторонку, в сельский гараж, на реку, чтобы защитить родных от тяжёлых трудных воспоминаний, от вчерашнего вечного горя. Глаза их отталкивали: уходите, не нужны вы нам со своей памятью, забрали *его* на мясо, а теперь терзаете, рвёте душу...

И вот там, в гараже, возле *его* зелёного кроссового мотобайка, отец рассказал о том, как страшно, нелепо погиб его сын: «отработал» один контракт, пришёл домой, но места себе не находил, будто там, за Лентой, откуда он вернулся, наслали на него порчу, приворожили, будто без него не разберутся с этой оху..шей Европой, и через месяц уехал назад, туда, где теперь навсегда *его* место.

Шли ночью устанавливать мины, расслабился в отпуске, нюх потерял, наступил в темноте на маленький, с охотничий патрон, заряд от кассетного снаряда, сдетонировала мина в руках, домой привезли в запаянном цинковом гробу, похоронили не открывая, и кажется теперь — не *его*, кого-то другого, а он остался там, в *лесополке*, и зовёт, зовёт...

«...Поеду туда, к нему... как думаешь, пустят? за шестьдесят мне...»

Он понял сразу, что от *него* почти ничего не осталось, разве что растерзанная голова или ступня, оторванная кассетным зарядом, а остальное, после мины, собирали по кустам, снимали с деревьев, и потому — в запаянном гробу.

Отец курил и смотрел мокрыми глазами на его мотобайк — никогда уже сын на него не сядет, мусолил дрожащими губами сигарету.

И его вдруг захлестнуло, вспомнил, впрочем, и не забывал никогда, хотя прошло больше сорока лет, просто иногда сильнее прежнего накатывало: *они шли колонной на бронетранспортёрах и грузовиках по дороге к Панджшерскому ущелью, и он думал, подсакивая на ухабах, как нагрузит это слово смыслами, а моджахеды выбили первую и последнюю машины и стали поливать их, как беззащитных зверей в клетке, из пулемётов и русских «калашей», продолжая выбивать гранатомётами, одну за другой, боевые машины, и он побежал за всеми.*

*Майор, который только что сидел рядом с ним, подначивал, стоял теперь возле перевёрнутой взрывом машины и что-то кричал ему или в рацию, а он рвался бежать прочь от этого страшного места, ему, как и всем пацанам, очень хотелось жить, и когда майор упал, он побежал дальше, к скале, и переставлял ноги до тех пор, пока вдруг ясно, как будто с него упала какая-то пелена, не понял, что он **проклятый трус**, и с этим ему придётся доживать свою **поганую трусливую** жизнь. И он развернулся, закричал что-то солдатам, подобрал брошенный кем-то автомат, побежал навстречу пулям, они свистели над головой, щёлкали о камни, обходили, облетали, словно заговорённого, и оттащил майора за дымящийся бронетранспортёр, а потом с размаху кинулся под грузовик, в эту жуткую чёрную дыру в приподнятом углу расплющенного кузова, откуда уже никто не выползал. И поэтому запомнил, что грузовик лежал сверху колёсами, и колёса эти бешено крутились.*

Он доставал и вытаскивал, переползая мёртвых, вялых, скользя коленями по пропитанному кровью брезенту, посечённых пулями и осколками живых пацанов, пока одна из них не ударила в темноте ему в лицо, пробив щеку, и вынесла три зуба, и с ними кусок челюсти через разинутый от ужаса рот... Потом он думал, что ангел, который закрывал своими крыльями, не разглядел его в темноте.

Когда вертолёт отбил их и он попал в госпиталь, долго не мог ничего вспомнить, кроме упавшего в бурых наушниках майора и этих колёс.

Ему нарастили челюсть и вставили зубы, майор выжил и представил его к награде; месяц, напившись, кричал на себя в зеркало: трусу дали медаль «За отвагу», но, когда знакомые спрашивали — за что, он молчал, только криво жутко улыбался, как привык, живя в военном госпитале без зубов.

«Подхватил афганский синдром», — шептались просвещённые коллеги. Спасибо, не крутили пальцем у виска.

Он стал единственным журналистом центральной молодёжной газеты, получившим боевую награду, но никогда её не доставал из вишнёвой бархатной коробочки.

С тех пор он из лейтенанта вырос до майора запаса, как будто тот, в наушниках, запретил ему, нестроевому офицеру, обходить его в звании, и, обнимая отца погибшего минёра, вдруг решил ходить на встречи с родственниками и сослуживцами своих убитых героев, надев ту советскую полевую отстиранную от крови лейтенантскую гимнастёрку и медаль.

Его предупреждали, что к старости афганский синдром усилится. У многих крышу сносит, регулярно напиваются до белой горячки, руки на себя накладывают. А он — просто навеки застрял у ворот в Панджшерское ущелье. Вместе с пацанами.

Внутренний голос, прозвучавший в минуту объятия, оказался прав, старенькая, выцветшая на плечах гимнастёрка советского лейтенанта, потускневшая стальная солдатская медаль и знак Участника боевых действий в Афганистане открывали сердца охваченных горем утраты людей.

И теперь ему не нужно было оправдываться или что-то объяснять. В нём перестали видеть гонца или всадника. Как только он, представившись, снимал свою ветровку, люди оглядывались на него, на его маленький маскарад — он надевал под гимнастёрку обыкновенные джинсы цвета хаки, — их глаза теплели, оживали, когда они разглядывали медаль на его груди, глубокую ямочку на щеке, лейтенантские погоны под сивыми кудрями изрядно поредевших хипповатых волос, убеждаясь в подлинности «реквизита».

Они усаживали его за поминальный стол как желанного гостя, придвигали тарелку с кутьёй или блинами, подливали водки, компота, и он — не сегодняшний писатель и журналист, а лейтенант из СССР — становился для них своим, хотя был старше отцов и матерей лет на десять-пятнадцать. Они по-свойски отмахивались поначалу от его обязательных вопросов, говорили о своём, наболевшем, но потом всё же прислушивались к нему, послушно заворачивали разговор в нужное ему русло. И рассказывая о нём, о его детстве, школьных годах, первой зарплате, первых девушках, первом отпуске на южном море, первой награде и, наконец, о его подвиге, забывая уже убирать с лица невольные слёзы, не глотали тяжёлые рыдания...

И он, устав сдерживать ответный плач, прятать ответные слёзы, отпускал эту судорогу в горле, закрывал лицо ладонями... и видел откуда-то сверху, с дрона, или как летающий над полем битвы архангел, *то ущелье, мёртвых пацанов, как будто просто и бездумно прилёгших в жаркий афганский полдень вздремнуть возле горящих грузовиков*, — мальчиков, которые не вернулись домой и не стали писателями или журналистами, телеведущими, учителями, майорами, генералами, капитанами белоснежных океанских лайнеров.

Или просто отцами.

«Шурави, сдавайся!» — кричали им моджахеды. А они неохотно отвечали, как и сейчас: «Русские не сдаются!»

2

В девяносто третьем он попал под обстрел возле Белого дома и умудрился поймать в ногу пролетающую мимо пулю провокатора, мучился от боли в очереди к хирургу с другими ранеными, оглядываясь на высокую военную зелёную каталку с убитым студентом, но книг, даже документальных, больше не писал — жизнь была круче и страшнее романов; в девяносто шестом, когда денег перестало хватать даже на сигареты, ушёл в бизнес, продавал оптом белорусские «Горизонты», собранные в Протвино, потом японские «Фунаи», итальянскую

обувь и даже шоколадные яйца киндер-сюрпризы, но торговля скоро стала сдвигаться — пришли крупные оптовики с сетевыми магазинами; купил печатную машину, бывший склад, открыл типографию, издавал газеты, рекламные листовки и дешёвые карманные бестселлеры на серой бумаге. Сын закончил мехмат МГУ, защитился и уехал в Америку, в Юту, преподавал в местном университете, женился на местной русского происхождения, родили внука, жена уехала к ним. А он вышел на нищенскую пенсию и вернулся на Камчатку, в родительскую квартиру, чтобы, наконец, продать её, а потом как-то вновь прилепился к ней, как в детстве, устроился в своей комнатёнке с видом на трубу котельной и край Авачинской бухты с Вилучинским вулканом, избегая почему-то заходить в зал со смежной кухней и ещё одной, родительской, комнатой, решил добирать северный стаж, и... заскучал, неожиданно заревновал жену, которую благодарно любил всю жизнь, сосредоточился на её изменах с его же друзьями, переживал, чуть ли не смаковал... А она даже не подумала оправдываться, грубо ответила, что у него на старости лет поехала крыша либо обострился афганский синдром. И посоветовала ехать к ним, деньги у него остались от продажи бизнеса, лежат в банке в долларах, так что нечего жадничать, выдумывать какой-то стаж, а здесь некогда будет забивать голову всякой *хернёй*, от латинского *hernia*, всю эту *нервозную грыжу* как рукой снимет.

Он её не послушал, — раньше русских в Америке привечали, а как сейчас, он не знает, жену не спрашивал, осторожничал, не хотел подставлять. Но ревновать вдруг перестал, действительно, крышу понемногу сносит от безделья.

И — решил проехаться по местам молодости, в Долину, в Эссо, где познакомился с женой, преподавателем английского, может, начать писать с какой-нибудь повести о любви. Тут же подвернулся заказ от руководителя писательской организации, как *афганцу с боевым опытом*, — собирать, писать и издавать биографии погибших на СВО героев. Ему всю жизнь везло на такие совпадения: стоило перевести сбережения, оставшиеся после покупки сыну дома в Юте в доллары — и вот тебе, рубль упал в разы.

Почти все герои жили в Долине. Да и где ещё нынче можно жить на Камчатке — в Городе и в Долине. А Побережье — не для жизни, там красная рыба, там деньги. И туман, морось, штормы, солёная вода в колонках, галечные косы — голые, только грубая, мелькающая изнанкой на ветру осока, дикий ползущий горох и коралловидные отростки прибрежного шиповника с кровавыми бутонами.

И спонсоры есть, сказал председатель писательского союза, на бензин хватит. Шутка.

И вот теперь Эссо.

Это камчатское село он любил с молодости. Сюда его привела журналистская командировка как раз перед отъездом в московскую аспирантуру. Но тогда он не задумывался, почему Эссо так отлично от других, возникших сотни лет назад вдоль реки, а потом — дороги, длиной в тысячу километров от Петропавловска до Усть-Камчатска. Оттуда, из устья великой камчатской реки, впадающей в буйный Тихий океан, русские купцы и промышленники — добытчики шкур

морской выдры — отправлялись на Север к Аляске, спускались к Калифорнии, бывшей ещё испанской колонией, где пытался найти своё счастье с Кончитой граф Николай Резанов, или далеко на Юг — через Японию и Формозу (Тайвань), — как бежавший с Камчатки знаменитый ссыльный авантюрист, обвинявший императрицу Екатерину Вторую в ужасных злоупотреблениях, Мориц фон Бенёвский, полуполяк-полувенгр, будущий король Мадагаскара.

К его удивлению, резановскую «Юнону», разбившуюся о скалы недалеко от нынешней базы подводников, обозначенной НАТО как «осиное гнездо», до сих пор не подняли и не реставрировали для обозрения туристами. Это был бы, на взгляд бывшего предпринимателя, популярный и прибыльный исторический артефакт.

Когда-то, 250 лет назад, Россия отказала в помощи англичанам, просившим направить в Америку воинский контингент численностью 20—30 тысяч штыков для умирения повстанцев, а теперь там, на другом берегу, — заклятый враг, подчинивший всю планету, грозный и беспробудно лживый.

Строительный бум на Камчатке пришёлся на эпоху Никиты Сергеевича Хрущёва, и потому здесь нет внушительных сталинских зданий в стиле ампир, украшающих Сибирь до самого Владивостока и до Харбина, но всюду, даже в деревнях, поставили облезлые унылые пеналы хрущоб. И он удивлялся, зачем нужно было возить эти панельные дома за тысячу километров по ухабистой грунтовой дороге на камазовских тягачах, когда вокруг сёл стояли превосходные корабельные, стойкие к камчатской непогоде, лиственничные леса.

И ещё удивительней было, что именно из этой лиственницы и построили в Эссо двухквартирные дома для местных жителей, с палисадниками и огородами.

Поразмыслив, он пришёл к выводу, что тут не обошлось без «роли личности в истории», то есть некий руководитель сыскал в себе силы и волю пойти против общего абсурдного курса в масштабах своего района. И не нашлось такой личности, к примеру, в Милькове, что в 250 километрах, с двумя кварталами хрущоб. И жители вынуждены были распахать дальние окрестности села под дачные участки — устроились вполне по-советски.

Он считал повинным в этом сельском абсурде того самого вождя, отметившегося ещё и загадочной передачей Крыма, который на то время был единственной военной базой Черноморского флота. Более того, подозревал, что авантюрист Хрущёв был засланцем из будущего, ясновидцем, — ведь невозможно представить, что недалёкий малообразованный вождь, до конца доучившийся только в Донецком техникуме, но зато поднаторевший в партийных интригах, мог предвидеть не только потепление климата и распространение кукурузы, но и развал великой ядерной империи, превосходившей по размерам все предыдущие, и заранее отписал «ридной» Украине черноморский полуостров стратегического назначения, политый русской кровью в нескольких жесточайших войнах.

Впрочем, надо заметить, предыдущие да и последующие вожди не сильно отличались русским патриотизмом, включая и Владимира Ильича, отдавшего Украине в эпоху революционных уступок бескрайние русские промышленные территории и города, включая Донбасс, Запорожье и Харьковщину, Одессу, Николаев, Луганск, Днепропетровск. И главным следствием этого стали

сегодняшнее повсеместное уничтожение русского языка, притеснение православной церкви в нынешней бандеровской Украине.

И война.

И он совершенно не задумывался о том, что если в СССР защищать интересы титульной нации особенно было некому, то при этом интересы других народов и народностей как-то блюли. Весь район, столицей которого было Эссо, имея статус национального, обладал многими социальными и бюджетными привилегиями. И выглядело село поуютнее, чем в каком-нибудь подмосковном волоколамском районе, где косо стояли не только заборы, но и дома.

Власти края любили показывать иностранцам это село, да и сами иностранцы, включая журналистов BBC, CNN, северной Европы и Германии, стремились сюда, чтобы прикинуть к роднику чудом сохранившейся традиционной культуры эвенов.

Они называли их то «французами Севера» за пристрастие к приталенным кафтанам и расшитым бисером нагрудникам, то «ковбоями тундры» за их уникальную способность мчаться верхом на своих рослых оленях и метко стрелять из карабинов.

Он не видел различий между коряками, чукчами, якутами или эвенами, — северяне, с которыми он изредка общался, превосходно говорили по-русски, и не приходило в голову, что где-то на территории российской федерации он может встретить людей, для которых русский так же непонятен, как, скажем, и английский.

Он столкнулся с этим, забравшись с женой в отдалённый табун, где их угостили оленьими языками, какими-то сладковатыми клубнями, а когда он стал задавать свои вопросы, молодые пастухи отвечали на непонятном языке. Как оказалось — эвенском. Потом, поездив по стойбищам, понял, что они подшутили над ним, как говорят — развели.

Можно было бы сказать, что эти места — своеобразная резервация, как заведено на противоположном берегу Тихого океана американцами для своих индейцев, известно, что они отдавали коренным жителям не самые лучшие земли. Но очень скоро он выяснил, что эти места эвены открыли и выбрали для проживания сами и до них здесь никто никогда не селился, хотя Эссо был и остаётся чем-то вроде таёжного безветренного оазиса, заслуженно называясь камчатской Швейцарией.

Единственный недостаток этих мест — они находятся в горной обширной долине на высоте более пятисот метров, но это никак не ощущается, разве что только волшебным, в одну ночь, переходом от лета к зиме, минуя осень; воздух здесь, можно сказать, целебный настолько, что ты не дышишь, а пьёшь его и даже ешь, — этот густо налитанный хвоей, цветами кипрея и альпийских лугов кисель.

Он сразу же почувствовал эту его целебную силу своими не очень здоровыми лёгкими, пережившими детский туберкулёз, распространённую болезнь среди выходцев с камчатского побережья и оленеводов.

3

Добирался он до Эссо со своей *дворянкой* Тусей почти десять часов. Его уже пожилой, прокачанный сто пятый крузак, пригнанный сюда контейнером с Павелецкого вокзала, бодро проскочил 250 километров по асфальту до Мильково, но на грунтовке подвёл, пробив колесо; быстро поменять не получилось — куда-то запропастилась секретная гайка, поставленная ещё финнами, первыми хозяевами джипа, пришлось перерыть всю машину, на что, вместе с обедом и прогулкой до реки, ушло почти два часа.

За это время остановилось с десятков машин, включая порожние лесовозы, и всем хотелось знать, что приключилось, не нужна ли помощь, почему московские номера, не из самой ли столицы держит путь. Его радовало дорожное братство камчатских водителей — не дадут пропасть, — пока не остановился чересчур заботливый, даже прилипчивый — назвался Мишей Прокопенко, полез на крышу по лесенке, скинул с багажника, умело орудуя ленточным натяжителем, запасное колесо, да так, что оно упрыгало в сторону глубокого противоположного кювета, пришлось догонять. При этом помогать поднимать на крышу пробитое не стал, мол, спина болит, предложил к себе в багажник сунуть — до этого, узнав, куда едет, обрадовался: он как раз из Эссо и у него при доме *гостиничка* с бассейном, милости прошу, с собачкой можно, если мебель не грызёт, еле отбил. Потом, когда, рискуя слететь с грунтовки, оторвался, задумался: чего упирался, ну поселился бы у него, искать ночлег не пришлось бы.

Пришёл всё же к выводу, что инстинкт его, как всегда, не подвёл, правильно отшил, такой не даст спокойно отдыхать и предаваться воспоминаниям молодости.

Он встал на ночь слева от села на горячих источниках, на лужайке, сбегавшей по пологому берегу к реке, — чуть не забуксовал в болотце, объезжая чьи-то два джипа, приткнувшиеся к ручью, вовремя включил «4 WD» и проскочил наверх.

Прежде, когда он с женой бежал сюда из гостиницы, здесь была просто тесная деревянная почерневшая купальня, а теперь целых две: одна в просторной избе со свежим деревянным настилом по периметру ванны, а вторая, поменьше, видимо, перестроенная старая, под навесом в виде поднятого шалаша, в которой ночью, в горячей термальной воде, они занимались любовью — уже без особой нужды, скорее, из любопытства, отбиваясь от комаров. Интересно, что после полуночи они куда-то исчезали.

Туся тут же сойдясь с чьим-то французским бульдогом, чёрным и задумчивым, стала скакать возле него, заманивать на лужайку. В болотце, затаившись мелкой ряской, рядом с ручьём, страстно загорланили лягушки, прежде их не было ни здесь, ни по всей Камчатке, кто-то завёз или сбежали из аквариума. А может, грустные гуси-лебеди, пролетая весной на север, принесли на лапках икру этих японских земноводных странного беззащитного светло-бежевого цвета. Туся попробовала поймать одну, но только вымазалась в иле, пришлось мыть её в тёплом ручье.

И теперь, под лягушачий страстный гомон, прикрыв глаза, отдавшись лёгкой дорожной печали ни о чём, он мог представить себя, впрочем, без особого сожаления, у старого пруда на подмосковной душной вечерней даче.

Костёр разводить не стал, сварил суп из тушёнки и ролтона на газовой, свирепо шипящей горелке, накормил Тусю и лёг спать, приоткрыв дверь для неё и опустив полог от комаров.

Рано утром Туся разбудила своим ворчаньем у самого уха. Он выглянул из-под полога, чуть не ткнувшись лицом в грудь проходившей рядом с машиной блондинки. Она ловко увернулась, обмахнув ему лицо полотенцем, перекинутым через шею, кивнула, обернувшись, и сбежала с лужайки вниз, к купальням. Она была в тесных серых лосинах и такой же майке, он успел разглядеть её спортивную длинноногую фигуру.

Надел плавки и, ощущая притяжение, словно купальщица захватила его в невидимые мягкие сети, спустился вслед. Она была во второй, под шалашиком, купальне, как почему-то и представлял, оглянувшись на его шаги, мотнув светлым хвостиком стянутых толстой резинкой волос.

Осторожно спустился, невольно подняв руку для равновесия, по скользким мыльным ступенькам. Девушка успела вымазать лицо и шею чёрным целебным илом, который захватила в соседней, за низким бортиком, луже, возможно, специально для него сделавшись похожей на чёрта у кипящего адского котла.

Он лёг в горячую воду, ногами к ней, получилось валетом в одной ванне, как в постели, и заметил, глядя на её плоский живот: *Вы теперь ужасная, как чертёнок в аду, только без хвоста.* Она шевельнула гладкими крепкими бёдрами, будто хотела убедиться в этом, и сказала с весёлой ответной неприязнью: *А у вас ноги женские... слишком красивые для мужика,* уточнила она, смягчая, *отдали бы нуждающимся...*

У меня такое впечатление, что мы уже говорили об этом, сказал он.

Он хотел сказать, что когда-то давным-давно, словно в другой жизни, по какому-то странному совпадению ему об этом заявила жена, которая ещё не была женой, и это случилось именно здесь, когда они впервые купались вместе, но не смог быстро сформулировать так, чтобы это не прозвучало обидно или вызывающе.

Может быть, в другой жизни, усмехнулась она.

Или в будущей, как-то неловко вырвалось у него.

Она странно, словно поняла его, взглянула и ушла в душевую кабинку.

Вышла уже в лосинах и кроссовках, с полотенцем на шее и, не оглянувшись, высоко и красиво, по оленьи, держа голову, побежала через лужайку к селу. Наверняка знала, что он смотрит вслед. И когда скрылась за бугром лужайки, он приподнялся в ванне, чтобы посмотреть, как поётся в дурацкой песне, не оглянулась ли она. Не оглянулась.

Он ещё погрелся — горячая вода расслабляет мышцы и полезна для суставов и позвоночника, особенно после долгой трудной дороги, — потом, когда пришли соседи-туристы с двумя малышами, мальчиком и девочкой, вернулся в машину и снова уснул. Продремал больше часа, проснулся

с ощущением чего-то хорошего и вспомнил о женщине в лосинах. *Село небольшое, немудрено и встретиться*, подумалось.

Он проехал до центра села, никуда не свернув, следуя своим смутным воспоминаниям, проехал низкий плоский мост, мимо огромного бассейна и оказался недалеко от Администрации района, если судить по триколору на коньке здания, хотел сразу пойти в отдел образования, где работала жена героя, но увидел высокий мост через реку, деревянный рубленый *острог* с башенками на другой стороне — этнографический музей, знакомый ему по фотографиям в интернете, и решил для начала зайти туда, тем более что нужно было прогулять Тусю, которая перескочила на переднее сиденье и проникновенно заглядывала ему в глаза.

Туся нашла подходящее место на другом берегу речки, под кустом ивняка, естественно выросшем похожим на стелющийся бонсай, присела рядом с перевитым коротким стволом, сгорбившись и гордо подняв голову.

Она сама выбрала его полгода назад, запрыгнула в машину, когда он, распахнув все двери, стоял в порту возле контейнера и перегружал в багажник зимние шины. Его беспокоила лёгкая ржавчина, покрывшая стальные полозья сидений, видимо, в контейнер попадала дождевая или морская вода, испаряясь, проникла в джип. А увидел собаку — уже подкатив к родительскому дому, она с любопытством приветливо разглядывала его озабоченное лицо в зеркало заднего вида. Он открыл ей дверь, чтобы выпустить, но она только попятилась, смешно склонив голову набок, как медвежонок.

Его покорила её весёлая умная серая, бородатая мордашка, оказавшаяся после мытья белой с красивым лёгким персиковым оттенком; удивительнее всего, что она как-то поняла, почувствовала его одиночество и потому запрыгнула в джип, совершенно уверенная, что он жаждет удочерить её. И это было действительно так — только она оказалась в квартире, он почувствовал, что теперь пахло всюду преимущественно её шерстью с лёгким оттенком псинки и совершенно испарился лекарственный горький запах одинокой старости, державшийся долгих десять лет после смерти матери.

Родителя почти не помнил, они расстались, когда ему было лет шесть, вероятно, отец давно переместился в другую вселенную, чувствовал он по холодку в груди, когда пытался припомнить его лицо.

Мама всю жизнь любила отца, в день, когда он ушёл от них, долго стояла у окна, а потом повернулась к сыну и смотрела так, будто забыла, где она, и кто она, и зачем. Позже, готовя документы на квартиру к продаже, он обнаружил, что она даже не выписала отца из квартиры, вспомнил, как позвал её к себе в Москву, на Хорошёвское шоссе, а мама отказалась, посмотрев тем же взглядом, от окна, и он понял, что она до сих пор ждёт отца, давно вышедшего за пределы Камчатки в неизвестном направлении. Вдруг возникнет у порога, побитый, брошенный, спросит: а как бы, это, перекусить?

4

Они прошли с Тусей на лужайку с короткой стриженной травой, она тотчас присела, коротко отметилась: я здесь была. С восточной стороны выкопана полуземлянка с низким входом, он видел подобные в стойбищах, и даже с женой заходили в одну такую, зачем-то лазали на крышу и пили с хозяевами иван-чай. Она тогда ещё не была женой, жила на первом этаже учительского общежития, вспомнил, как они в её комнатке пили вино при свечах, она вдруг включила верхнюю голую лампочку, и за окном, в косой копне света, он близко увидел какого-то парня, тот напряжённо смотрел на него, он от неожиданности даже вздрогнул. Она встала и решительно задёрнула штору, как отрезала. Он не решился спросить, кто это и что ему нужно. Но она сама сказала очень серьёзно: это мой бывший, придётся тебе у меня ночевать, он хочет тебя побить, здоровый, чёрт, гирями на досуге балуется.

Они ещё даже не целовались, а в тесной комнатке стояла только узкая кровать и стол с двумя стульями. Или табуретками.

Она была красива и многозначительно молчалива, и он почему-то всегда знал, о чём она думает и что она думает о нём, — с их первой встречи на том мосту возле музея. Правда, тогда ещё музея не было и мост был другим, низким, плоским, у самой воды, и она стояла с подругами и была самой красивой из них, с длинными русыми волосами, завитками огибавшими высокий лоб, прямыми строгими чертами лица и чистой нежной кожей, только глаза её, раёк, показалось ему, были слишком светлыми и оттого холодными. И вся она была какой-то чистой, нежной и холодной, как снежная королева. К ней так и обращался один его коллега, с которым он сошёлся на картошке в подшефном совхозе, — в многолюдной редакции не было принято дружить отделами, красивый, рослый, мускулистый парень, международник, сын знаменитого на весь Союз журналиста, нагло, как бы шутя писавший ей комплименты на праздничных посиделках, с русским обращением: С-нежная королева! И английским коротким любезным текстом. Правда, тот прекратил это делать после его затянувшейся командировки в Афган и лечения в госпитале.

Они уснули на её узкой кровати валетом, приставив стулья (или табуреты), а утром он предложил поехать с ним в далёкое стойбище на лошадях, она радостно согласилась, крепко поцеловав его, и это был их первый поцелуй, а потом, когда они почти через полмесяца вернулись из этого путешествия и были уже близкими, родными, он предложил поехать с ним в Москву.

Он всегда считал, что она была благодарна ему за то счастливое свадебное путешествие через тайгу и тундру к эвенам, к этим ковбоям и последним кочевникам Севера, но ошибался, она больше всего запомнила бессонную ночь, которую провела с ним валетом, хотела его и злилась, что он уснул, откинув руку на табуретку, а не ей на ноги. А он так и не признался, что не стал целовать её и обнимать в отместку за того парня под окном.

К ним спустился немолодой уже, но крепкий человек с густой красивой сединой в зачёсанных назад обильных чёрных волосах, очень похожий на японца своей плотной, светлой, желтоватой моложавой кожей строгого, тонко очерченного лица, может быть, его лет или старше, и приветливо предложил погладить Пеликена по животу: *И будет вам счастье*, улыбнулся он.

Пеликен, вырезанный в человеческий рост из тополя, стоял за его спиной, покрытый красным лаком. *Да я уже погладил*, ответил он.

Заходите в музей, предложил человек, указывая на деревянные ступеньки, поднимавшиеся к площадке, выходившей к зданию музея.

Можно с собакой? — спросил он.

Можно-то можно, ответил мужчина, так же улыбаясь, *только там наша, как бы не испугала*.

Он взял Тусю на поводок и вошёл следом; посредине светлой, сложенной из кругляка, заставленной и завешанной предметами быта северян комнаты стояла длинношёрстная высокая акита, по-волчьи пригнув большую тяжёлую голову с ухоженной львиной гривой, уставившись на его собаку. Туся сделалась сразу маленькой, несчастной, писнула от страха, спряталась за хозяина и уже из-за его ноги храбро и в то же время не очень уверенно тявкнула.

Айна, свои, так же дружелюбно сказал ей мужчина.

Акита обошла нас, обнюхала Тусины следы и легла у входа.

Из будочки, там, где, видимо, находилась касса, выглянул темноволосый, чернобровый и при этом светлоглазый и бледный, по-девичьи красивый подросток, спросил важно тонким детским голоском, будет ли он брать билет.

А что, можно не брать?

Мальчик кивнул.

Он отдал ему пятьсот рублей и сказал, смеясь: *На развитие!*

Деда, высунулся подросток из окошечка, мне дать ему десять билетов?

Нет, Максим, сказал деда, снова коротко улыбнувшись, *напиши на билете: «Получено пятьсот рублей на развитие» и распишись*.

А какой породы ваша собака, спросил мальчик.

Он заметил, что Максим при этом глядит в сторону, обходя его взглядом.

Просто дворянка.

А наша — акита, вы не смотрите, что шерсть длинная.

Я знаю, сказал он и похвалил, чтобы сделать Максиму приятное: *Настоящая длинношёрстная акита. Я в Москве знал одну такую*.

Она добрая, только вид грозный, пусть ваша собака не боится, вы не думайте!

Туся, ты не бойся, сказал он Тусе.

А вы знаете Норштейна, он в Москве живёт, спросил вдруг Максим, не глядя на него.

Он догадался, что Максим, видимо, аутист и потому избегает смотреть в глаза, но мальчику понравилось, что незнакомец похвалил его собаку и потому решил поддержать разговор, правда, без предисловий.

А какого Норштейна? спросил осторожно.

Он нарисовал заставку к Спокойной ночи малыши в 1999 году.

Нет, Максим, не знаю, и я давно уже не смотрю «Спокойной ночи, малыши!».

А вы знаете, почему Заяц в его заставке делает так? Максим, по-прежнему обходя его взглядом, приложил палец к губам.

Не знаю, Максим.

Это значит: молчи, никому не говори. Это очень страшная заставка, было очень много жалоб на Норштейна от детей и родителей, и потому заставку сняли в 2001 году.

Максим, не приставай, человеку нужно ещё музей осмотреть, сказал деда.

Меня зовут Арсений Сергеевич, и я не спешу, сказал он, мне даже очень интересно разговаривать с вашим внуком о художнике Норштейне. Я и не знал о таком.

А меня зовут Степаном Ильичом, представился деда.

Он нарисовал ещё ёжика в тумане, добавил Максим.

И тут он вспомнил, что слышал о Норштейне и видел его «Ёжика в тумане», который получил приз на каком-то кинофестивале, мультик ему очень понравился, особенно когда все его герои потерялись в тумане. И ёжик, и сова, и лошадь.

Дед улыбнулся и сказал: *Хотите, Максим проведёт для вас экскурсию по музею? Он тут всё знает.*

Арсений согласился, и Максим повёл его по залам, у него при этом была совершенно взрослая чужая речь, возможно, он подражал кому-то, с профессиональными интонациями и оборотами, он помнил все даты, когда и от кого эти вещи попали к ним, и не то чтобы щеголял этим, а, казалось, у него в голове всё разложено по этим временным полочкам, как будто он сам из той эпохи. Это было странное ощущение: детский голосок и взрослое знание и понимание всего того, о чём он рассказывал.

Арсений, слушая, проникался уважением к этому ребёнку и одновременно ощущал почему-то жалость и сочувствие к нему как к человеку одинокому, не понятому, у которого впереди трудная жизнь.

От Максима он с удивлением узнал, что эвены были не только язычниками и берегли свои традиции и обряды, но уже четыреста лет — православными и считали главной книгой Евангелие от Матфея, перевод которой на эвенский, сделанный в 1889 году священником Стефаном Поповым, как сказал мальчик, хранится в музее.

Арсений попросил подержать в руках эту книгу, изданную в Казани в 1892 году. Она была в чехле из замши и помещена в короб, сделанный из какого-то странного материала.

Это береста, подсказал дед, просто её долго варили.

Арсений спросил: *Где находится отдел образования, не в Администрации района?*

В другом здании, через мост, под сопкой, сказал Степан. А вам там кого?

Крестину Фёдоровну Долганову.

Зачем она вам, насторожился вдруг Степан.

Я писатель, из Москвы, фамилия моя Иванов, собираю материал для книги о её муже.

Я вас провожу, как-то торопливо, оглянувшись на внука, сказал Степан.

Когда они выходили, Айна коротко тявкнула.

Это она с вами попрощалась, объяснил мальчик, погладив Тусю, а вы в каком году родились, какого числа и месяца?

Арсений удивился, но ответил и спросил в свою очередь, можно ли Тусю с ним оставить.

Мальчик охотно согласился.

До свидания, попрощался Арсений. Я скоро.

Максим не ответил, глядя Тусю.

С тобой попрощались, подсказал Степан.

До свидания, очень тихо рассеянно ответил мальчик.

Он немного аутист? спросил Арсений на мосту.

Что, так заметно?

Да нет, у меня жена работала в московской школе для одарённых детей, и я научился отличать. Многие почему-то без напоминаний не здороваются и не прощаются. Как будто сразу отключаются. Или не включаются, улыбнулся Арсений.

Есть такое, согласился Степан. Максим — сын Кристины Фёдоровны, огорошил он Арсения. И я хочу вас предупредить, она совсем не расположена к общению, и тем более об... этом. Слишком свежо всё. Вы должны понять.

Да, я понимаю. Но и меня поймите, книга нужна сейчас... И указ президента о присвоении вышел...

Тут такое дело, Степан остановился и достал из кармана трубочку с длинным мундштуком, раскурил её, глядя на вспыхнувший под пеплом огонёк, она против войны. Против этой войны. Она даже не смотрит новости, там постоянно говорят о потерях, об их потерях. Это жестоко, считает она. Не по-христиански. У них тоже есть жёны, дети и матери. Добивать Украину, это всё равно, что добивать больного ребёнка. Так она это видит. И это не они убили Иннокентия, а мы, все, кто за войну, — правительство, президент. Люди.

Арсению показалось, что Степан с Кристиной согласен и прикрывается пересказом её слов.

А они — по-христиански? сказал он тихо, чувствуя, как его накрывает, как поднимается вместе с застарелой болью за пацанов (мы вас туда не посылали), волнами бешенство, отчаяние, как с ним случилось, когда ему начинали перечить в чём-то очень важном для него, по-христиански резать на животе женщины свастику, насиловать и резать, давить головы пленным колёсами грузовика, бить очередями в спину нашим старикам, детям?

Ну, вот, видишь, завёлся! И как ты с ней будешь разговаривать? усмехнулся, перейдя на «ты», Степан.

А так и буду, сказал, сжимая зубы, кулаки, напрягаясь, гася гнев. Готовый уйти, наплевать на них. А получилось, что хочет ударить, напасть.

Ну и ну, удивился Степан, ты что, тоже больной? С пол-оборота завёлся!

Да, контуженный, вдруг согласился он, как бы извиняясь, раскаиваясь, а кто ещё... больной?

Боюсь я за неё. Как бы рассудка не лишилась. Любила она его очень, с болью, руганью любила. Всё бросила ради него. А он ушёл на войну, сказал Степан.

На две войны. Ещё и Сирия. Хотела уехать от него, не смогла. Тут ещё что. Её первый муж погиб на сплавке, и теперь она думает, что это не совпадение, а её вина... опять же с сыном... в церковь ходить стала, Бог, говорит, меня испытывает. Евангелие от Матфея — настольная книга у неё. Я-то не против. Но... Надо любить врагов своих, говорит. Помните, как там: возлюби врага своего, как самого себя, и тебе воздастся. Ещё начнёт деньги им посылать. Посадят за госизмену. Она всё-таки чиновник. Вот и всё испытание. Жалко её, она ведь лингвист талантливый, кандидат наук, а докторскую тоже забросила, хотя весь материал у неё под рукой.

Они остановились на взгорье возле двухэтажного голубенького домика на низком, осевшем фундаменте, обшитом вертикальной узкой искусственной доской. За домом протекала мелкая речка, должно быть, та же, что и возле музея. За речкой, почти от воды начиналась сопка — возвышалась над всем селом. Он вспомнил это место, где-то недалеко должно быть учительское общежитие. Там была эта же сопка. И они поднимались на неё, смотрели на село, расчерченное на квадраты, и тайгу за ним, бескрайнюю, до горизонта, на двуглавый Ичинский вулкан, целовались. И не только. Он даже почувствовал возбуждение.

Я с тобой пойду, разведу, если сцепитесь, сказал Степан и натянуто улыбнулся.

5

Вошли в маленькую приёмную с компьютером и принтером на столе. У двери в кабинет начальника отдела стоял одинокий стул. Степан постучал и тотчас же открыл дверь. Навстречу встала высокая крашеная блондинка в лёгком платье и кроссовках. Туфли на каблуках, заметил он, стояли возле сейфа. Это была она, через мгновение понял Арсений. Женщина из купальни.

Здесь, в тени кабинета, она показалась красивой, но потом Арсений разглядел две вертикальные короткие морщины между длинными слегка насупленными бровями, усталый взгляд близоруких светлых *тоже* глаз. И лицо её, показалось, как-то разом померкло, как будто в люстре над головой погасли лампы. Но высокую округлую грудь, плоский живот и красивый мягкий греческий рисунок бёдер и талии платье подчёркивало, притягивало взгляд.

Арсений слегка смутился — она заметила, как он невольно засмотрелся на неё и быстро, как вор, отвёл взгляд. Он так и не понял, узнала ли она его в одежде.

Мы с Максимом дежури́м в музее, он за кассира, сегодня заработал уже пятьсот рублей, улыбнулся ей Степан, усевшись на стул возле двери. *А это,* он указал на Арсения, *писатель, товарищ Иванов, Арсений, из Москвы, пишет книгу об Иннокентии.*

Ужасная война, когда-нибудь она закончится? сама у себя спросила Кристина, коротко взглянув на него. *Или вам тогда не о чем будет писать?*

Он сделал вид, что не заметил её злой иронии.

Ну, вы же знаете, не мы её начали, мы её заканчиваем, сказал он неохотно.
Я этого не знаю, я только вижу, как мы друг друга убиваем.

Это справедливая война: против нацистов, против бандеровцев. Тех, кого не доби́ли в сорок пятом, сказал он и с неудовольствием почувствовал, как банально и избито это прозвучало.

А сами почему не воюете или вы только пишете?

Он промолчал, пожал плечами, подумал разочарованно, злясь на себя, что разговора с ней не получится.

Арсений хотел присесть рядом со Степаном, но тот подтолкнул его ближе к столу, к Кристине.

Расскажи ему, как с Иннокентием познакомилась, попросил Степан.

Очень просто, как-то равнодушно и послушно начала Кристина, его прислал ко мне в Институт Севера Степан Ильич, она плавно, сверху вниз, повела рукой в сторону тестя, я думала придёт маленький, как он, оживилась вдруг Кристина, а пришёл двухметровый и красивый, как из Голливуда, только наголо бритый... увидел и смутился, засмотрелся, и я не могу глаз отвести. Чуть не описалась. Ребёнка от него захотела. И поняла, что он, большой и красивый, себя не ценит. Он сказал, что вечером уезжает в Москву, я испугалась, что он уедет и я его больше никогда не увижу, и он останется с первой, кто его приберёт, если уже не прибрали, а я буду только страдать по нему. Бросила конференцию и повела к себе. И трахнула его, чтобы запомнил, чтобы приворожить, грубовато закончила она.

Ну-ну, сказал Степан, шуточки у тебя. Он приехал тогда из Сирии, и она попросила его выступить на конференции на эвенском языке.

Степан погрозил ей костистым пальцем.

И что, выступил на эвенском? спросил Арсений.

Ещё как, выступил с большим успехом, тётки кипятком писали, а я повезла его домой и трахнула, как я уже сказала, в этот раз она усмехнулась.

Арсений подумал, что она так дразнит Степана, чтобы ушёл. А может, и его. Но никто не уходил.

И тогда она ему прямо сказала: *Папа, идите к Максиму, не оставляйте его надолго. Вы меня смущаете, я товарищу московскому ничего лишнего не скажу, не волнуйтесь. А если и скажу, то добрый человек, вы ведь добрый, это сразу видно, писать не станет, иначе какая я буду вдова героя. Верно?*

Арсений только кивнул, он чувствовал себя как-то неуютно, и не из-за её нарочито грубоватой речи, а из-за странного подтекста всего происходящего, который он сразу же почувствовал, как только Кристина заговорила. Будто с ними был ещё кто-то, кого она подразумевала и кто при этом её защищал от всех, что бы она ни говорила и ни делала.

Степан Ильич поднялся и, воспользовавшись тем, что Кристина пригнулась к тумбе стола, предостерегающе прижал палец к губам, и он невольно вспомнил Максима и его Норштейна с ёжиком в тумане.

Кристина закрыла за тестем дверь на защёлку и встала перед Арсением, прислонившись к столу. Он заметил, что на ней нет колготок, а кроссовки были на босу ногу. У него без носков потеют ноги.

Что, в одежде не узнал? Или ты следил за мной, чтобы присмотреться, может, если повезёт, и трахнуть вдовую, оголодавшую? Узнал, что я по утрам туда бегаю?

Он промолчал, почувствовал себя школьником у директора школы. Не стал говорить, что только ночью приехал.

Ну ладно, давай, расскажи о себе, чтобы разговор получился, а не интервью, сказала она, подтолкнув его по-свойски, как ровесника, коленом.

Чем тебя интервью не устраивает? полюбопытствовал он, тоже переходя на «ты».

Ну, интервью — это что-то официальное, обязательное.

Ну да, согласился он.

Ты женат? спросила она. *Только честно, знаю я вас...*

Женат, но она уже три года в Америке, к сыну уехала.

А ты?

Что я?

Один, без женщины?

Ну да, ответил он и добавил неуверенно, вдруг почувствовав фальшь: *рукоблудием занимаюсь.*

Она положила руку ему на плечо. Тёплую.

Успокойся, я тоже, сказала, *два года.*

Почему столько-то?

Полтора года война, полгода — веранда, она вздохнула.

Какая веранда?

Поселился на веранде. У него осколок горячий в сердце был. Запаялся. Или приварился. Врачи и запретили.

А ты?

Не подходила к нему, боялась, что заведусь и убью его, я ведь сумасшедшая бываю, себя не помню...

Она замолчала. Слезы на глазах.

Вот и поговорили, зачем-то сказал он.

Она села на стол и тихо позвала его. Он не услышал, понял, подошёл, она, переминаясь на ягодицах, глядя ему в глаза, медленно сняла трусы, бросила на стол, на бумаги. Притянула его за ремень, распустила.

Точно сумасшедшая, подумал он.

Не хочет? Спросила и наклонилась, дунула, как на горячее.

Сейчас, сказал или подумал он. Она с ним, как с родным, своим, облегчённо и благодарно понял он вдруг. И больше ни о чём не думал, пока не почувствовал, что сейчас кончит.

Пожалуйста, не останавливайся, попросила она и сильно, руками, ногами, притянула его к себе, вздрогнула, потом ещё несколько раз.

Нет, я ещё хочу.

Она промолчала, только сильнее сжала его бёдра ногами, на мгновение открыла потемневшие яркие сумасшедшие глаза.

Кажется, к ним стучались несколько раз.

Уйди, немедленно, сказала она.

Он перевёл дыхание и удивлённо посмотрел на неё. Глаза, полные слёз.

Уйди, а то закричу.

Он вышел и услышал из-за двери её глухие рыдания.

Он спустился к речке и шёл по самой кромке заросшего нежной светлой травой берега до широкой глубокой заводи с зелёным медленным мусором на ней, иногда оступался и попадал в воду, но не чувствовал холодной воды в кроссовках, он чувствовал другое: в нём росло, распускалось что-то большое, неудержимое и одновременно горькое и до слёз счастливое.

Он зашёл в музей, чтобы забрать Тусю. Та пристроилась на коленях у Степана, просунув голову ему под руку на какие-то верёвки. Степан о чём-то спросил его, он услышал, но не понял, кивнул, он чувствовал и слышал лишь Кристину — ярко, тепло, тесно и влажно, а всё остальное было за пеленой, едва пропускающей звуки и свет.

И он совсем не удивился, что Степан и Максим ведут его к себе, ему показалось даже, что очень долго, хотя их дом был сразу за лужайкой музея. Его посадили на диван в горнице, и он заметил только маленькую иконку Богородицы в углу. Должно быть, уснул, слышал, чувствовал сквозь сон, как где-то рядом ходит Кристина, запах её духов, её сильного крепкого тела.

Он проспал на диване остаток дня и ночь и встал только к обеду, такое с ним случалось редко, только после долгой разлуки с женой.

Ему оставили записку, написанную детской рукой, что все на работе, а в четырнадцать часов его ждут в Доме Культуры на встрече с жителями района и военными. Он помылся, побрился, надел гимнастёрку, прогулял Тусю и велел ей ждать в доме, но она не хотела, пыталась проскочить мимо ног, когда он осторожно приоткрывал дверь.

Он шёл не торопясь, чувствуя ещё вчерашнюю пелену, думал о своём инфантилизме, о женской части своей души, о том, что он, как, должно быть, и Иннокентий, сходится только с теми женщинами, которые сами выбирают его, ведя себя как захватчицы, о своей писательской талантливости, если она ещё есть, связанной именно с этой, женской частью его существа. Он думал, знал, что никуда не уедет без неё, напишет не только биографию её мужа, но напишет о всех: о Степане и Максиме, о ней. Он уже чувствовал, как тяжело, трудно ворочается в нём, в его душе, переплавляясь, перетекая, его тоска по ним, отголоски их боли и любви.

Он намеревался задержаться, чтобы пропустить официальные речи, а потом воспоминания близких, всегда трудные, нагоняющие слёзы и женские сопли. И когда, наконец, приоткрыл дверь в зал, то увидел белый экран, уходящий бронетранспортёр, сидящих на нём бойцов с автоматами и титры с фамилиями авторов телевизионного сюжета.

Он втиснулся в группу молодых, оживлённых, невысоких, как подростки, эвенов, свободно стоявших у входа, и хотел пройти по краю, вдоль стены, но его, поверх чёрных голов, заметил майор, который передавал ему в штабе флотилии копии документов на подполковника Иннокентия Степановича Долганова, и жестами велел идти к нему, указывая на проход по центру зала.

Герман Власов

Счастья выговаривая слово

* * *

откуда эти имена
мы были к ним глухи
мелодия права одна
так пишутся стихи

нешкольный мел немая взвесь
асфальт посеребрит
а ты живёшь уже не здесь
и снег заговорит

страница выпукла в окне
плывущий силуэт
и вереница из коней
и праздник из карет

фонарик движется свечной
след жёлтого мазка
и в этой музыке ночной
теперь жива москва

смотри сверкает вся парит
беседует со мной
и звёзды со своих орбит
глядят на шар земной

Власов Герман Евгеньевич — поэт, переводчик. Родился в 1966 году в Москве. Окончил филологический факультет МГУ. Работает переводчиком. Многочисленные публикации в журналах «Дружба народов», «Знамя», «Новый мир», «Дети Ра» и др. Автор девяти сборников стихов. Лауреат международной литературной премии им.Фазиля Искандера (2021) и др. Живёт в Москве.

* * *

есть подземная река
от москвы до иордана
холодна и глубока
и она течёт как рана

ножевое ли шрапнель
почти в каждом человеке
есть до киева тоннель
вырытый в девятом веке

как по тонкому по льду
лучше раной сердца к сердцу
я глаза закрыв пройду
мне вольно единоверцу

сном шелковым прилипать
на ресницы кожей к коже
это я пришёл опять
спит москва и киев тоже

* * *

голые деревья гнутся
трутся о твоё стекло
стой помедли улыбнуться
и прохлады лбом коснуться
оттого что здесь тепло
покаянного канона

там за тысячи шагов
там и здесь всё время оно
гнётся бьётся русский бог

там где в оспинах воронок
не летает жаворонок
у мелованной горы
пни стоят опалены

сучья крючья брёвна рёбра
ощущая как недобро
там неслышимо постой

первой клейкою листвою
всё оденется затынет
забинтует круговерть
и как раненую тайну
в землю закопают смерть

а пока мы делимы
и канона образ робок
врозь ранимы опалимы
грудь и лоб и подбородок

отражаемое поле
отражается в виске
поле пуля волны горя
и прожилкой синей боли
бьётся птица на песке

* * *

В тишины угольное ушко,
смотровой и белый кабинет
можно, сняв одежду, и пешком
удивленья тёплого на свет.

До смешной припухлости желёз,
до распочкованья немоты:
кто здесь тихомолкою живёт
и разводит белые цветы?

Дует мне в затылок, добела
протирает тоненький фарфор:
Неужели ты не умерла —
сколько времени прошло с тех пор?

Сколько отшумело чёрных лет —
столько я ботинок исходил?
И на белизне оставляю след,
а потом забуду, где я был.

На салфетке в уличном бистро
строчку запишу о тишине,
о тебе, о снеге на Покров.
Но опять чернил не хватит мне.

* * *

Счастья выговаривая слово,
части сопрягающая, словно
с крыльями бескрылая душа,
выжив в обеснеженную зиму,
что тебе витрины магазинов,
космос на конце карандаша?

Грифель послунявь и нахимици:
гречки прикупить, свечей и спичек,
вычеркнуть ненужного объём.
Чуждого не трогая руками,
родовую возвращая память,
как-нибудь до Пасхи доживём.

Ну а там на воздухе, наверно,
зацветут олива или верба,
замаячит жёлтый огонёк —
пролетит над гатью шалопутной
ангел, муза, по-другому — спутник.
Вот он я, неси меня, конёк.

Вынесет ли из тягучей гати,
стану ли над Припятью стояти?
Будет утро — сами поглядим.
Полагаем — не располагаем;
участь сопрягаем, запрягаем.
Пишем, дышим, тишину едим.

Александр Киров

Круги своя

Рассказы

Запах сигарет

Я ждал этого момента четыре года. Вроде бы недолго, но для меня это была целая жизнь. Беспросветная и мрачная. Вспоминать её мне не хотелось. В ожидании жены я прошёлся по коридору собственного дома, зашёл на *свою* кухню, поставил чайник (мой!), рухнул на одиноличный диван. Через десять минут, сидя за столом, за которым до этого не сидел никто, кроме меня, пил чай из именной кружки.

В этот момент я почувствовал запах сигарет. Кто-то курил в соседней комнате. Усмехнувшись, я побрёл, ну да, в свою, вернее, в нашу с женой комнату. Естественно, там никого не было. Вот только запах сигарет чувствовался отчётливо и выветрился нескоро. И я надолго забыл об этом.

В мае 19-го года я как ошпаренный выскочил на крыльцо Сбербанка. Тётка, кутившая там, поинтересовалась:

— Чё счастливый?

— Ссуду дали.

— Поздравляю, — кивнула тётка. И задумчиво добавила: — С рабством и кабалой.

«Бывают же дуры», — подумал я и поскакал в строительный магазин.

«Бывают же дураки», — подумала тётка, задурила сигарету в кусты и, тяжело вздохнув перед неизвестностью, открыла стеклянную дверь в будущее.

Вечером того же дня мне пришло письмо из одного литературного журнала. Они взяли подборку моих стихов. Называли их интересными, многообещающими,

Киров Александр Юрьевич — прозаик, поэт, эссеист. Родился в 1978 году в Каргополе Архангельской области. Печатался в журналах «Октябрь», «Знамя» и др. Автор книг повестей и рассказов, в том числе «Митина ноша» (2009), «Последний из миннезингеров» (2011), «Полночь во льдах» (2012), книги литературоведческих эссе «Русские капрично Бориса Евсеева» (2011). Лауреат ряда литературных премий. Живёт в Каргополе.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2024, № 1.

перспективными... Мы с Леркой по этим поводам — ссуды и публикации — устроили пир на весь мир. Он заключался в рагу из овощей, которые я по дешёвке купил у знакомого кавказца. Пили сок с мякотью из невзрачной банки, тоже купленной у упомянутого жителя гор. Сок был терпким и не очень вкусным, но с долгоиграющим букетом, именно таким, каким бывает настоящий сок. Романтичнее в этом натюрморте, конечно, смотрелось бы вино, но мы с Леркой не пили. В смысле вообще. Лерка была дитя нового времени, когда бухать, как в девяностые, было уже не модно, если не сказать не нужно. А я уже выпил свою бочку спирта в те самые девяностые и к новой решил не притрагиваться. А ещё я бросил курить. Лерка поставила ультиматум: «Хочешь бэбика, брось сигарету. Смотри, как детки все кругом болеют».

Что правда, то правда.

И курить я не сразу, но всё-таки бросил.

Жили мы тогда на съёмной квартире в дебрях маленького города, в котором и центр, признаться, был порядочным захолустьем. Экономии на всём. Моя работа, прямо скажем, такая, что мне не только не дали ипотеку, но и ссуду давать не хотели, оставляла много свободного времени. Поэтому я готовил из чего придётся всякие вкусные вкусности. А Лерка училась на юрфаке (понятно, что не МГУ, но за деньги), и если не пропадала на лекциях, то писала контрольные и дипломы — для себя и для всяких ближних и дальних долбоёщеров, — этим и зарабатывала. Наших денег едва хватало, чтобы сводить концы с концами.

А я работал дома. Был тестировщиком, поэтому всё время зависал в компьютерных играх, искал ошибки, сообщал о них своему начальнику. Подозреваю, что это был такой же тестировщик, который использовал меня как чернорабочего. Но тридцатку платил исправно и работой не заваливал. Меня это не то чтобы устраивало, но ничего более приличного, дабы зарабатывать и держать голову свободной для стихов, я найти не мог.

Следующие полгода были вполне себе ничего. Мы с Леркой достроили, наконец, дом. Руками плотницкой бригады простых северных мужиков, ободравших нас как липку. Поэтому внутри мы всё делали сами. Экономии! Да и у Лерки руки из того места растут. Вообще, как я уже говорил, Лерка училась на юрфаке, но в строительных делах была прорабом. Она приходила утром, давала мне задания, показывала, как чего надо делать. Потом приносила обед, тыкала пальцем в «косяки», заставляла переделывать. Вечером принимала работу. И хвалила меня, и награждала по-царски. А сама ничего делать не могла по одной простой причине. Той самой, из-за которой я бросил курить. Лерка сдержала своё обещание с первого раза.

Удивительно, однако, при всём при этом стихи пёрли и пёрли. Я сыпал образами, как мифический единорог. Бубнил строки, пока укладывал плитку на зыбь плиточного клея. Бубнил, трамбуя между щелями плитки белую затирку. Бубнил, крутя саморезы, выставляя по уровню деревья, на которые потом ложились другие деревья. После работы записывал стихи или диктовал Лерке, а сам валялся на диване (пока ещё не своём), блаженно вытянув ноги. Диван и сам, наверное, мог бы написать что-нибудь эпическое с маркировкой 18+.

Тут же отправлял в журналы. Я был лёгок в общении, переписывался с дюжиной редакторов. Взял за правило относиться к публикациям как к игре. И играл по-крупному. Один раз меня одновременно напечатали в трёх толстяках один помпезнее другого. На радостях я поехал в столицу за авторскими экземплярами и так, развеяться.

На крыльце последнего из толстяков курил старенький заведомом драматургии.

— С чем поздравить? — поинтересовался он, издали увидев сияние, исходившее от моей физиономии.

— Выбирайте, — протянул я ему трёх апрельских толстяков.

Дедушка глубоко затянулся и странно как-то посмотрел на меня:

— Вы ведь не думаете, что так будет всё время?

А потом закончились деньги. Пятого числа каждого месяца друг за другом приходили три сообщения. В первом жизнерадостно писали, что на мой счёт зачислено тридцать тысяч рублей. Вторая деликатно сообщала о том, что двадцать тысяч автоматически списывается в счёт погашения кредита. Третья тактично рассказывала о том, на какие нужды у меня только что сдёрнули ещё пятёрку. Дальше я сам переводил за квартиру, вздыхал и шёл в магазин за хлебом и макаронами.

— Чё думаешь? — спросила меня Лерка через два месяца.

Я молчал. В таком разе люди часто продавали недостроенный дом.

— Мы что вот так вот просто возьмём и откажемся от нашей мечты?

Я продолжал молчать.

— Я блевать, — рыкнула Лерка и хлопнула дверью сортира.

Через минуту раздались предсмертные стоны тяжело раненного не крупного хищника из семейства кошачьих. А когда они закончились... Я был готов к ответу.

— Ты знаешь, — сказал я Лерке, утиравшей слёзы (она сказала, что из-за хищника), — а ведь я когда-то закончил филфак.

— Я люблю тебя, — сказала Лерка. И, подумав, добавила: — Я — писать.

Снова хлопнула дверь сортира. Лерка затаилась. Кажется, кроме прочего, она ожидала возвращения хищника. Ну а я, ничтоже сумняшеся, выложил в сети объявления об услугах репетитора, корректора, редактора и хрена моржового.

Может показаться, что к этому решению подтолкнула меня Лерка, но это не так. Во-первых, к этому решению меня подтолкнула жизнь, а во-вторых, нужно объяснить про Лерку.

Она пришла в мою жизнь из ниоткуда. Просто позвонила (где, интересно, она откопала мой номер?) и сказала, что хочет встретиться. Так вот просто и прямо. Я терпеть не могу всякие там кафешки, поэтому пригласил её к себе на съёмную, богом забытую квартиру в посёлке № 4 (это дальний пригород захолустья). Она пришла и осталась, потому что пропустила последний автобус. И, кроме поездки куда-то за вещами, больше не уходила.

Родителей у нас не было. Мои давно умерли естественной, хотя и ранней смертью. Леркины разбились, когда она ходила в первый класс. Воспитывала

её сестра, что ли... или тётка? Лерка об этом вспоминать не любила, а я не спрашивал.

— Я увидела тебя на поэтическом батле в доме культуры, — призналась Лерка позже. — Хотя назвать это батлом было довольно сложно. Твоё выступление с десятком-другим любителей на разогреве. Помнишь, ты там читал:

Облачные сливки в небесах зачала
Огненная кошка с дивными очами...

Про любителей — это она, конечно, сгоряча, но стихи я тогда писал хорошие, что правда, то правда. И вообще — люди в этих местах часто писали стихи. Одиночество и заброшенность весьма располагают к пьянству, спорту или поэтическому творчеству.

Несмотря на то, что я был старше Лерки на пятнадцать лет, в жизни мы были ровесниками. Лерка объясняла это очень просто:

— Ты пять лет занимался не своим делом, пять лет жил не с той бабой и пять лет бухал, таким образом ты, дурачина, просрал пятнадцать лет своей жизни, что приравнивается к наказанию за убийство при отягчающих обстоятельствах. Таким образом, нам обоим по двадцать. А учитывая обстоятельство, что девочки взрослеют раньше, я тебя даже старше. Поэтому ты должен меня слушаться.

На самом деле, у меня появилось время на воспоминания. Ученики ко мне повалили валом, поскольку за уроки я брал недорого. Были они в основном из окраинных рабочих семей, в первом поколении пытались освоить русский язык и чудом проращивали жалкие сухие ростки знаний из буйной заросли векового невежества и косноязычия. А работать с ними было просто. Они понимали, что родители отдадут за наши уроки последние деньги. И учились в меру своих сил, но на таком начальном уровне, что я, делясь откровением, почему в слове «загорать» пишется буква «о», мог вспоминать ещё и о нашем с Леркой знакомстве. Они были славные ребята, просто с детства им нужны были совсем другие слова: не «загорать», «промокашка» и «творить», а «болгарка», «шуруповёрт» и «шиномонтаж».

Поскольку занимались мы в единственной комнате съёмной квартиры, Лерка стала уходить работать в библиотеку. Библиотека в нашем посёлке пустовала. В читальном же зале и вовсе не было никого, чем не преминула воспользоваться Лерка. А так как занятия у меня были с десяти утра до позднего вечера, то не виделись мы иногда целыми днями. В новом доме работы было ещё непочатый край. И я бегал туда по выходным. Получалось, что и в субботу с воскресеньем мы виделись нечасто.

Беременность протекала тяжело. Лерку постоянно тошнило. И в читальном зале она сидела у самого выхода. А после одного случая с внезапным появлением хищника тётушки-библиотекари туалет старались надолго не занимать.

Потом была история с двумя котятами.

Поздним субботним вечером я закрыл на замок стройку, которую, несмотря на все замки, дважды успешно обворовывали, и вышел на дорогу. Топать

по прямой нужно было километра два с половиной, но я всё-таки предпочитал ходить пешком. Экономил деньги и чистил кровь после известковой пыли.

Было тепло. Неделю назад пришло настоящее лето.

У дороги стояла машина, под которой возились двое котят, серенький и чёрный. Они успели побороться, потом откатились друг от друга в разные стороны. Серенький свернулся калачиком, а чёрный мылся. В этот момент какой-то разъярённый мужик выскочил из калитки соседнего дома, запрыгнул в машину и дал по газам. Тут же затормозил, выскочил из машины, схватился за голову.

— Не заметил... Выбесили все, я и психанул... Готов...

Он полез в машину за пакетом и перчатками, поднял с дороги всё, что осталось от чёрного котёнка, положил в машину. Серенький сидел на обочине и таращил глазёнки.

— Как-то выпрыгнул, — буркнул мужик, бросил трупик в багажник и укатил.

Я взял серенького под мышку и понёс домой. Он крупно дрожал, потом обмяк и стал посапывать.

Лерка ждала меня в дверях. Она плакала. На этот раз хищник был ни при чём, потому что плакала она от счастья.

— Меня перевели с платного на бюджет! — сказала она и засмеялась.

— Поздравляю! Это тебе.

И я протянул Лерке серого котёнка, который проснулся и снова таращил глазёнки, ничего не понимая.

— Назовём его Бюджет, — предложил я.

Лерка опять засмеялась. Кажется, это был самый счастливый вечер в нашей жизни.

А имя котёнка мы укоротили до Джет.

Теперь мы виделись ещё реже. Лерка вставала рано утром, чтобы успеть на первую пару. Я дрых до десяти. Это было непреложным правилом. Вставал уже в гордом одиночестве. Наливал Джету молока. Пил кофе. Садился за комп. До обеда тестил всякий кровожадный тупняк, отсылал Массе Тому, как я называл работодателя, имя которого было сокрыто пеленой неизвестности, чек-листы и всякую дребедень отчётов. Съедал бич. Давал Джету пугассу. И сразу начинал принимать учеников, которые приходили с двух часов (они ведь ещё и школу зачем-то посещали). Часов в семь вечера жарил яичницу с сухарями, обычными и панировочными. Кусок отдавал Джету. И шёл на стройку. Работал до одиннадцати. Домой приходил около двенадцати. Если везло, перебрасывался с Леркой парой фраз и спешно запрыгивал на корабль, отплывающий в блаженную бухту романтических отношений. Если не очень везло, наливал Джету молока и ложился спать. Джет в этом случае проползал в мой угол кровати и пел песенки, под которые я и засыпал.

Так продолжалось месяца два. А потом у Лерки появились друзья, которые не знали о моём существовании.

То есть в прямом смысле слова не знали. Однажды Лерка, которой с третьего месяца беременности удалось как-то договориться с хищником, осторожно спросила, не против ли я, если она с девчонками сходит посидеть в кафе.

Признаться, я даже обрадовался. На смену хищнику волнами накатывала депрессия, которая, подобно духу, не имела отчётливой формы и превращалась то в слёзы по разбитой чашке («я грабуркое ничтожество»), то в сокрушение от подгоревшей картошки («и готовить-то не умею»), то, ещё хуже, — в панику от двух подряд прыщей, один за другим выскочивших на подбородке («ещё и уродина»).

— Конечно, сходи.

Лерка начала собираться. Я решил немного подразнить её.

— Меня не приглашали?

Лерка хмыкнула.

— Стыдишься старого мужа.

Лерка, которая крутилась у зеркала в трусиках и короткой футболке, обтягивающей уже заметный живот, демонически хохотнула.

— Скрываешь, что ты жена поэта, — сокрушённо изрёк я.

Не зря говорят, что самоуничижение паче гордости. Добавлю — вдобавок наказуемо.

— Они понятия не имеют о таком поэте, — небрежно пробормотала Лерка. И холодная игла вонзилась мне в сердце.

А ночью приснился страшный сон. Как будто ходит по тёмному городу невысокий человек с копной жёлтых волос. И спрашивает у встречаемых:

— Хотите, я вам стихи почитаю?

Бабушки крестятся и обходят его стороной. Дети кривляются перед ним и дразнят. Хмурые рабочие отталкивают и матерят. И только пьяницы со всех сторон облепили его как мухи и ходят за ним огромным неопрятным хвостом.

— Царь пьяниц! Царь пьяниц! — вопит городской дурачок, прыгая впереди процессии.

А желтоволосый кричит в слезах и отчаянии:

— Я не тот, за кого вы меня принимаете... Я не тот, за кого вы меня принимаете...

Тут я понимаю, что это Есенин, и, когда толпа проходит мимо, обдавая меня запахом давно не мытых тел и застарелого перегара, робко говорю:

— Здравствуйте, Сергей Александрович!

А Есенин хищно смеётся, хватая меня за шиворот... Он каким-то непостижимым образом становится великаном... И кричит:

— Ты узнал меня, ну так займи моё место, но только не на Олимпе, а в пьяной толпе...

Я понимаю, что это меня теперь несёт вонючий мерзкий поток недолудей, кричу... И просыпаюсь.

Суббота. Ранняя рань. Но спать... *Так* спать... уже не хочется. Осторожно перелезаю через Лерку и собираюсь на работу. Джет трётся о ноги. Даю ему молока, но он всё равно продолжает тереться и мурлыкать. «Ничего, дружок,

ничего, как-нибудь выберемся из-под машины». Сегодня пораньше уйду на стройку. Надо уже всё это заканчивать. Крыша едет.

И вот когда подошёл очередной платёж за квартиру, а денег не было, потому что у Лерки на шестом месяце стали адски портиться зубы и пришлось срочно устраивать её в платную клинику (попасть на бесплатный приём в нашей поликлинике можно только через полгода после обращения в регистратуру, то есть на протезирование), а хозяйка, милая во всём, что не касалось товарно-денежных отношений, сказала, что у неё на примете есть другая супружеская пара (она всегда так говорила, когда нужно было подождать с оплатой), я брякнул то, что всегда очень хотел в таких случаях брякнуть:

— Так договаривайтесь с ними, мы съезжаем.

Хозяйка последовательно покраснела, побелела, позеленела и ангельским своим голоском сказала, чтобы духу нашего к концу недели тут не было.

Когда она ушла, Лерка мрачно посмотрела на меня:

— Ты идиот?

— Да, — кивнул я. — Собирай вещи.

— Свои? — поинтересовалась Лерка.

— Нет, наши, — я сделал вид, что не заметил сарказма.

Дальше Лерка два вечера швыряла наше барахло, вдруг оказавшееся в большом количестве, в коробки и три чемодана (два вечера разделить на три чемодана!) и бубнила, как же её всё это бесит. Я терпел и наливался бешенством. Джет путался под ногами, царапал диван и метил коробки.

— Меня-то не мог спросить? — не выдержала наконец Лерка. — Господи. Всё на себе тащу, чуть-чуть пошевелиться надо и то...

— В смысле «всё»? Ничего? — переспросил я.

Вернулся хищник, и я замолчал.

Это была наша первая серьёзная ссора.

А потом не иначе как на поминки по съёмной квартире вернулся дух депрессии.

Запах сигарет долго не выветривался, и я открыл окно.

Куда же запропастилась Лерка? Я звонил уже двадцатый раз. Абонент вне зоны, абонент вне зоны... Я оделся и вышел на улицу.

Старая квартира была закрыта и темна.

В универе сказали, что Лерка сегодня не приходила.

Я лихорадочно бегал по городку.

А Лерка никуда и не пряталась. Сидела на скамейке в парке у реки и кормила голубей.

— Ты знаешь, — сказала она, — в этом что-то есть.

Толстые откормленные сизари лезли со всех сторон, жадно курлыча и требуя добавки. Я поймал себя на мысли, что не осуждаю Джета, который каждое утро пребывания в новом доме приносил нам на завтрак такого вот баклана и недоумевал, почему мы предпочитаем тосты.

— Пошли домой, — осторожно предложил я.

- Ты иди, — махнула рукой Лерка. — Я ещё посижу.
— Тогда я тоже буду сидеть рядом. Пусть твои голуби меня сожрут.
Лерка с ненавистью посмотрела на меня.
— Ты мне жизнь сломал.
Я кивнул.
— Послушай, Лерка, я стих написал:

Я уйду из страны золота
И оставляю свою молодость,
Томик стихов и рубец колотый.
Я уйду из страны золота.

Мы помолчали.

— Стихи у тебя хорошие, а ты мудака, — сказала Лерка.

До родов по официальной версии оставалось два месяца. Но состоялись они через неделю.

Эту неделю мы прожили в своём доме (продолжая выплачивать свою ссуду).

Тут как раз случился перебой с учениками. Не все остались со мной. Таскаться с одного конца городка в другой они не успевали, да и беспокойно было у нас осенними и зимними вечерами. Возвращаясь домой, ребятёнок мог нарваться на стаю гопоты, и сами стайные в городок нет-нет и заходили.

Короче говоря, месяц я жил почти без учеников, а чтобы набрать группу в новом районе (репетитор на районе!), пришлось сбавлять таксу.

Раньше я думал, что, когда ты приходишь в магазин и покупаешь одни макароны, и продавщицы за кассой, изрекая «сорок два рубля», смотрят на тебя высокомерно, — это дно. Оказалось, это было ещё не самое дно, дно началось теперь. Макароны я покупал раз в неделю. Остальные дни хлеб за четырнадцать рублей чёрный и за двадцать два рубля белый. От хлеба исходил унылый запах нищеты. На второй день липкие куски покрывались плесенью, но в нашем новом красивом доме хлеб редко доживал до второго дня. Разве что Лерка не доедала. Хищник не возвращался, просто ей было очень плохо.

— Может, тебе в роддом? — брякнул я.

— Женщина сама знает, когда...

В три часа ночи она растолкала меня:

— Вызывай такси, началось.

Лерка рожала пятнадцать часов.

А у меня в это время были уроки. Потом я клеил ламинат в гостиной. Потом опять рассказывал про спряжение глагола и суффиксы причастий. Потом доклеивал обои.

И только в шесть вечера мне позвонили из больницы.

В дверях роддома я столкнулся с акушеркой, принимавшей роды.

— Всё хорошо? — спросил я.

Анна Шипилова

Птичка-невеличка

Рассказ

— Сто пятьдесят на девяносто, высокогато. — Катя выпускает воздух из зелёной манжеты и расстёгивает её, освобождая бледную рыхлую руку в пигментных пятнах. Белый круглый след на сгибе локтя медленно краснеет. Бабушка Лиза с кряхтением опирается на кушетку, пробует встать. — Посидите пока, я ещё пульс померяю. — Она записывает показания в журнал, разлинованный от руки. — Давно так? Что же раньше не приходили?

— Помнишь Мишу, развозил нам хлебушек? Он мне всегда говорил: «Баб, ты, если болеешь, не говори, что болеешь, не приманивай болезнь!» Так что я не болею и всем говорю, что не болею. Даст Бог, ещё поживу, не жалею.

Катя провожает её, помогает спуститься с крыльца — одна ступенька, вторая, третья, — садится на лавочку и, привалившись спиной к серой кирпичной стене, закуривает. В детстве она таскала яблоки из бабы-Лизино сада, и та гонялась за ней с крапивой и хлестала по голым ногам. У неё был самый сладкий сорт, с красными боками. Не успевает Катя докурить, к калитке подъезжает до стёкол облепленная грязью бордовая машина, водитель выскакивает и, рванув пассажирскую дверь, помогает выйти беременной женщине в нарядном платье в мелкий синий цветочек.

— Растряс меня, а я говорила, ну всё теперь, приехали, — причитает она, еле переставляя ноги.

Катя выбрасывает бычок и бежит к машине.

Сразу после поворота с шоссе к их деревне асфальтированная дорога заканчивается, весной всё размывает — не проехать. Катин фельдшерско-акушерский пункт единственный на пятьдесят километров вокруг. Она осматривает женщину, та охает и кричит, кожа на животе идёт волнами. Телефон постоянно вибрирует, вызовы идут один за другим. Катя сбрасывает и звонит врачу в областную больницу, описывает симптомы. Тот велит срочно отправить беременную к ним.

Шипилова Анна Константиновна родилась в Москве в 1989 году. Окончила ВГИК им.Герасимова. Автор сборника рассказов «Скоро Москва» (2024).

Предыдущая публикация в «ДН» — 2023, № 3.

— Я тебе обзвонилась. — Мама протягивает Кате письмо. Её рука дрожит. — Заказным пришло, я расписалась. — Она начинает плакать.

Катя не разунаясь проходит на кухню, садится за стол, вскрывает письмо, читает вслух: «Приказываю вам... с момента вручения... и до... явиться по адресу... при себе иметь паспорт, военный билет, а также...» Катя переворачивает повестку, ещё раз смотрит на свои фамилию, имя и отчество — ошибки нет. Закрывает глаза, вздыхает и вдруг чувствует запах противогаса, в которых они по-пластунски ползали по коридорам на уроках ОБЖ. Пахло пылью, резиной и сладковатым средством от мышей. Остаётся чуть меньше двадцати часов.

— А я тебе говорила в учительницы идти... А ты — дневники и тетра-а-а-дки проверять, всю жизнь уроки де-е-е-лать. — Мамин рот кривится. — Вот. И всё. — Она трясёт конвертом. — Вот к чему твоё упрямство привело.

Катя качает головой, водит пальцем по столу, передвигая одинокие крупинки сахара, вдавливая самую крупную в подушечку большого пальца до боли. Мама вздыхает.

Они вытаскивают стол из кухни — ножки оставляют следы на скрипучем дощатом полу, Катя спотыкается о коврик, откидывает его носком кроссовки. Разложив стол, она протирает его кухонной тряпкой, принохивается к ней, переводит взгляд на старые занавески. Всё это давно пора выкинуть, в платяном шкафу третий год лежат новые ситцевые шторы. Катя расправляет их, цепляет на пыльные кольца, вдыхает вьёвшийся в ткань запах сигарет от отцовского пиджака. Мама, вытирая распухшие красные глаза, ставит на огонь картошку, приносит из погреба несколько банок солёных огурцов, помидоров и самогона. Катя вдруг вспоминает об учебнике десмургии, которую они изучали на третьем курсе колледжа. Учебник остался в пункте, и можно быстро сбежать, но тут появляются соседки с кастрюлями и банками в руках: мочёная антоновка и щаница, пирожки, накрытые вышитыми полотенцами. Мама благодарит, раздвигает тарелки и ставит угощение в центр стола.

Бабушка Лиза берёт Катину руку.

— Мы за тебя всем селом будем у Боженьки просить, и Он услышит. Он же всё видит, и как ты одна тут у нас...

Бабушка Надя протягивает ей пакет.

— Возьми носков, мы вязали для ребят там, не успели передать, вот ты как раз и передашь. И себе возьми.

Катя благодарит, заглядывает в пакет, на лежащих сверху вывязано: «вернись живым», «наше дело правое», «враг будет разбит», «победа будет за нами». Она ставит пакет на сундук с «приданным» — постельным бельём и вышитыми полотенцами, которые мама из года в год покупала на рынке в городе с Катиных шестнадцати лет, отмахиваясь от её «никто так сейчас не делает». Катя смотрит на белый циферблат на стене, считает, шевеля губами: остаётся семнадцать часов.

— У меня тоже есть подарок, — тихо говорит дядя Семён, взяв её под локоть. — Я броник купил, думал, если буду нужен, то пойду, но меня

по возрасту развернули. Давай на тебя примерим, там лямки подтянуть, может, и подойдёт... Я тебя отвезу завтра утром сам.

Дедушка Яша разливает самогон, Катя берёт стопку и выпивает залпом. Бочком, стараясь ни на кого не смотреть, прикрывая руками живот, обтянутый широким шерстяным платьем, к ней подходит Вика. Они не разговаривали с тех пор, как та вышла замуж.

— Миша пишет иногда оттуда, когда связь есть. На, возьми, — она протягивает несколько мятых купюр, — там пригодится. За Мишу прости меня.

Катя кивает, но отводит её руку. Вика неловко засовывает деньги ей в карман и тут же отходит.

— Да сколько мы будем это терпеть? Всех мужиков забрали, работать некому, а теперь девок, что ли! — громко говорит тётя Люба, встаёт, чуть не переворачивая тарелку. Её тянут вниз и усаживают обратно.

— Он противоосколочный. — Дядя Семён протягивает Кате рюкзак, она машинально принимает его и, чуть не уронив — такой тяжелый, — ставит под лавку. — Я его носил батюшке, он от пуль заговаривал. Больших денег стоило.

Тётя Люба отводит Катю в сторону.

— Собери еды завтра и тёплую одежду, я тебя отвезу вниз по реке, оттуда пешком пойдешь до Озёрного, там избы все пустые стоят. Я тебе буду еду привозить из столовой, от детей всё равно много остаётся, и дрова. Электричества там нет, но и это всё долго не продлится, до конца года, наверно, точно должно закончиться.

Катя мотает головой, смотрит время в телефоне: пятнадцать часов.

— Послушай меня, — тётя Люба говорит с нажимом, — мать не слушаешь, меня послушай. Девке там делать нечего, убьют, изнасилуют или ног-рук лишишься. Или затопчут, не заметят, ты такая маленькая. Мужики пусть воюют. Сами заварили, сами пусть и расхлёбывают.

Катя собирает пустые тарелки, кое-как ставит их друг на друга, относит в кухню, идёт в свою комнату за печкой, закрывает дверь, садится на кровать. За столом запевают: «Вот о-о-на и заиграла нашу лодочку во-о-о-льной, только свыклись и расстались мы с то-о-обой». Она смотрит в окно на заросшее поле, трава идёт рябью. Бабушка эту песню любила. Надо сбегать попрощаться с ней, а заодно с отцом. За столом её не хватятся. Ещё четырнадцать часов впереди, она всё успеет. Накинув куртку, Катя вдевает ноги в резиновые боты, заглядывает в комнату и говорит маме одними губами:

— Я скоро.

Мама, держа руку у живота, крестит её вслед.

С рёвом на красном «Иже» появляется Вадик с другом — увидев их, Катя ныряет за дом. Они оба в спортивных костюмах, кроссовках и еле прикрывающих уши шапках-петушках, с красными щеками и обветренными руками. Пригибаются, заходя в дом, мнутя на круглом плетёном коврик. Вадик зовёт:

— Тётъ Тань!

Катина мама выходит к ним, комкая в руках полотенце.

— Чего стоите? Давайте тоже к столу.

— Тётъ Тань. Мы чего хотим сказать. Если что-то нужно, там, дрова поколоть, прибить чего-то, огород вскопать... Я, вот Егор тоже, — Вадик показывает на друга, — вам поможем.

Егор кивает, не глядя ей в глаза.

— Ну спасибо! Давайте проходите, проходите. Вам пить-то уже разрешают родители?

Егор усмехается, видя самогон на столе, говорит под нос:

— А то мы спрашиваем кого.

— Ну хоть по маленькой. Давайте садитесь сюда.

Она обмахивает лавку полотенцем.

Вадик садится и сразу поднимает стопку.

— Я в общем что хочу сказать. Катя всегда была мне как старшая сестра. Хоть я и на ней в детстве хотел жениться. — Он шмыгает носом.

— Ну ладно тебе, чего ты, ещё успеете пожениться. — Дядя Семён хлопает его по спине, часть самогона из стопки проливается в миску с майонезным салатом.

— А потом, когда на нас Украина напала, ну хотела напасть, а мы не дали, я понял, что пойду Родину защищать. А получилось вот так.

— Не хватало ещё вам, — вскипает тётя Люба, — лишь бы убиться! То мотоцикл этот, теперь на войну собрались!

Вадик с Егором выпивают не чокаясь, бабушка Лиза крестится.

— Спаси и сохрани, Михаил архангел, родненький, защити, Николай Угодник, ты же видишь нас всех, помилуй.

Свет телефонного фонарика бликует на табличках, выхватывает разросшиеся кусты за низкими заборами. Катя идёт по дорожке, безошибочно сворачивая в нужных местах. Подростками они на спор ночью ходили на кладбище, воровали конфеты, пили оставленную водку и пугали друг друга. «Чего мёртвых бояться, бояться надо живых», — успокаивает себя Катя, повторяя мамины слова. Бабушкина могила с памятником, широкая, а папина рядом, как криво и наспех вклеенный в медкарту вкладыш. Табличку ему заказали на «Вайлдберриз». Почти все скопленные на памятник деньги пришлось потратить на ремонт дома. После папиной смерти всё начало разваливаться — крыша текла, печка дымила, потом сарай сложился внутрь. Хорошим хозяином папа не был никогда: уходил в запой на несколько месяцев, ни за одну работу не держался: то валялся на засаленном топчане — из их кровати мама его давно отселила, — то пропадал с дядей Семёном. Свет фонарика пляшет от бабушкиного надгробия к папиному холмику. Ноги медленно увязают, она с трудом поднимает правую, за ней из земли тянутся жилы. Катя смотрит на время.

— Вы, наверное, уже знаете, ну наши-то рассказали. — Она глядит в сторону новых, выкопанных экскаваторами могил, увешанных венками с яркими, видными даже в темноте, кислотными цветами. — Я вот не ожидала, вроде сказали, что женщин не забирают. Ну, в последнюю очередь. Видно, вот так решили, детей-то я не успела завести. Замуж тоже не вышла, —

она вздыхает, — не сложилось. Вместо меня пришлют, наверное, кого-нибудь сюда. Ну, значит, так надо. Чего ещё сказать, не знаю. Увидимся.

Тётя Люба ждёт на крыльце столовой. Катя переходит дорогу и отдаёт ей связку ключей. Меньше шести часов.

— Я в тетрадке всё написала, где что лежит. По всем медкарты заполнила, отчёты сдала, по анализам в больнице в курсе.

Тётя Люба затягивается сигаретой, перебирает аккуратно подписанные синие брелоки: «Входная дверь», «Процедурная», «Медикаменты».

— Не передумала?

— Нет. — Катя отводит взгляд.

Тётя Люба протягивает ей полотенце, свёрнутое кулком. Внутри что-то тёплое, Катя заглядывает: в запотевшем целлофане пирожки.

— Бери, бери, — тётя Люба крестит её, — с яйцом и луком и с картошкой, как ты любишь. С вечера тесто поставила, сейчас испекла, там-то домашней еды не будет.

Дядя Семён за рулём постоянно прикладывается к бутылке воды, Катя прислоняет лоб к стеклу, за окном мелькают заборы, столбы, дома — почти во всех она была, со всеми успела познакомиться. Мама сказала, когда Катя вернулась после колледжа: «Плохое настроение своё дома оставляй. Со всеми здоровайся, улыбайся, вышла на улицу — ты теперь на работе».

Телефон в руке нагревается: звонки идут один за другим, Катя объясняет, что сегодня её не будет, и завтра не будет, и нужно дождаться новую медсестру или ехать в больницу.

— В больницу страшно, — говорит дядя Семён, когда она кладёт трубку. — Да и далеко. Остановимся? — Он кивает на бело-голубую церковь с золотым куполом.

Катя сомневается, пять часов, не успевают, а если авария на дороге? А вдруг больше не попадёт в церковь? Она повязывает платок, обвивает концы вокруг шеи, затягивает двойным узлом. Дядя Семён заговаривает с матушкой, показывает на Катю. Та качает головой, смотрит на неё с сочувствием.

— Мы добавим в список воинов, по воскресеньям на службе батюшка зачитывает.

У алтаря Катя зажигает свечку, ставит её перед иконой Богородицы. Молиться она не умеет, знает только «Отче наш» наизусть. Запрокидывает голову, как в детстве, когда выстаивала с бабушкой службы. С дощатого свода из выцветшей синева на неё по-доброму смотрит Бог, его руки распахнуты, будто Он хочет её обнять. У Кати кружится голова, она делает шаг в сторону, потом назад и чуть не падает, потеряв равновесие. Дядя Семён подхватывает её под спину.

— Какая ты птичка-невеличка, спрятать бы тебя в рукаве.

Катя просыпается от школьного звонка — они стоят на железнодорожном переезде. Она поднимает голову, оглядывается: гаражи лепятся вдоль забора

промзоны, за переездом почти вплотную к путям стоят ряды панельных домов. Выйдя из церкви, Катя легла на заднее сиденье, как в детстве, и уснула, подтянув ноги. Она достаёт из-под правого бока тёплый телефон: ещё час. Успевают. Город она никогда не любила, и пока три года училась в колледже, каждый день скучала по дому.

— Патронный завод, — дядя Семён показывает на серое приземистое здание. — В три смены сейчас пашет. Ищут рабочих, не хватает им. Я бы сам пошёл, но ездить далеко.

У комиссариата, чуть накренившись, стоит пыльный автобус с надписью «Дети» и изображением девочки в косынке. Окна зашторены чёрной тканью. Катя смотрит на очередь.

— Ну пошли, что ли? — Дядя Семён вылезает из машины.

Она встаёт в конец очереди, на неё вопросительно оглядываются мужчины средних лет и молодые парни, чуть старше Вадика. Сорок минут.

— Ты чего, не теряйся, давай иди внутрь, — подталкивает дядя Семён, отдавая ей рюкзак.

Внутри очень много людей, но совсем тихо. Все лавки в коридорах заняты, вдоль стен — такого же салатового цвета, как в фельдшерском пункте, — стоят мужчины. Катя достаёт повестку, заправляет выбившуюся прядь под платок, открывает рот и ловит мрачные, тоскливые и озлобленные взгляды. Ничего не спросив, она идёт вперёд, наугад сворачивает, видит стоящих в ряд мужчин в трусах и носках. Катя без очереди шагает в кабинет напротив, не успев прочитать имя и должность на табличке. Седой военный с чёрными бровями надевает очки и долго изучает её повестку.

— Екатерина, — он заминается. — Николаевна, мы женщин не призываем, но если вам повестка пришла, то надо разбираться. Поезжайте в комиссариат на Ленина, знаете, где это? Я вам телефон-адрес запишу. — Он достаёт листок из пачки и берёт красивую тяжёлую ручку. Квадрат лампы на потолке мигает. — Кто рожать-то будет, если у нас начнут женщин призывать? — Подняв глаза, он улыбается ей.

Рядом с крыльцом ждут несколько заплаканных девушек. У их ног спортивные сумки и пакеты с вещами. Дядя Семён уже уехал.

— А на Ленина мне как добраться? — спрашивает Катя.

Одна из девушек объясняет, какой автобус нужен.

— А что сказали?

— В другой ехать, не берут тут.

Девушка смотрит на неё с надеждой и страхом.

На остановке Катя снова и снова проверяет время — семнадцать минут, шестнадцать, пятнадцать — и следит, как быстро разряжается телефон. Автобус чистый и кажется новым, но внутри так сильно пахнет соляжкой, что у неё начинает болеть голова. На бетонном заборе за окном огромное граффити: «кредитное рабство» — печатные буквы кренятся и наползают друг на друга, чуть дальше указатель «Пролетарский район». Над перекрёстком три билборда с ярко-жёлтыми буквами на синем фоне: «ЛДПР», «говорим президенту», «правду».

На зебре автобус пропускает бабушку, та с трудом толкает инвалидную коляску с ребёнком, Катя отмечает: ДЦП, кифоз, с возрастом будет только хуже. После поворота, наконец, начинается Ленина, появляются знакомые вывески магазинов и кафе. Вдалеке слышна пожарная сирена, поднимается чёрный дым. Пять минут.

Сойдя на нужной остановке, Катя видит оранжевое пламя в окнах пятиэтажного кирпичного здания. Мимо неё, пригнувшись, пробегает человек в толстовке с капюшоном, натянутым на глаза, отталкивает её плечом. Она чувствует запах бензина и, загипнотизированная видом пожара, не сразу оглядывается, но за спиной уже никого нет. Катя закрывает нос и рот от дыма рукавом куртки и понимает, что бензином пахнет от неё. К комиссариату подъезжают две пожарные машины и полицейская с сиреной и мигалкой. Катя ставит рюкзак на лавочку на остановке, прислоняет его к пыльному стеклу, садится рядом и наблюдает, как пожарные тянут шланги из машин. Время вышло. Посидев немного, она достаёт повестку, кладёт на землю и прижимает кирпичом.

Автобус домой через два часа. Катя ест мятые пирожки, запивая чаем из пластикового стаканчика. Она аккуратно держит его за края и дует, но всё равно обжигается. Последний пирожок жуёт уже всухомятку, не везти же назад. В автобусе жарко и душно, пахнет чем-то кислым. Она устраивается в хвосте, положив рюкзак на соседнее сиденье. Автобус разгоняется и выезжает из города, Катя открывает форточку и подставляет лицо потоку свежего воздуха.

— ...В молодости видела, когда водили его на поводке по дворам, отгоняли нечисть, а с тех пор и не видела.

Катя просыпается от разговоров, автобус тормозит, она спросонья не может понять, где находится.

— На двор пришёл, я в дом спряталась, соседке позвонила, говорю: Петровна, сиди дома. Собаки лаяли по всей деревне, учуяли. А Петровна говорит: я не дома, в «Вайлдберриз», мне чайник приехал и подушка ортопедическая. Я говорю: закройте там и сидите. Бурый походил, сунул нос в будку, у меня собаки давно нет, и ушёл. Барсик был дома, а так бы на один укус. Я теперь ведро выливаю не на компост, а иду подальше, в овраг, чтобы запахов не было.

— Невесту искал.

— Теперь за грибами боюсь ходить, муж всё время зовёт с собой, а я боюсь.

— Мужа-то не забрали?

— Нет, куда ему, лет-то сколько уже. А молодых почти всех забрали.

— Может, они и приходят. Шубу вывернут, лицо сажей обмажут, перекинутся, по лесам шастают, чтобы не забрали, а по людям тоскуют. В лесу-то скучно. С кем там разговаривать, с белками, что ли?

— Скорей бы всё это закончилось.

— Не говори, каждый день молюсь.

Катя поворачивается посмотреть, кивнуть, но женщины уже стоят к ней спиной. У одной опухшие ноги, надо бы вены посмотреть и проверить почки, а другая немного кривится, как дерево, заваливается на бок. Автобус останавливается, и они спускаются. Катя снова закрывает глаза, и ей снится, что к ней домой пришёл медведь и сидит за столом. Она ставит перед ним тарелку с селедкой и кастрюлю с картошкой, открывает крышку. Картошка дымится, медведь гладит её по руке — шерсть жёсткая, когти немного её царапают. Катя говорит ему: «Сними».

Автобус тормозит на её остановке, будто тяжело выдохнув, открывает двери, никто не выходит. Птица вылетает из форточки.

— Ой, ты, полечко мо-о-о-ё, ой, поле чисто-о-оя, — поёт тётя Люба.

— Ой, ты раздолье мо-о-о-ё, ой, да степь широко-оя, — подхватывает бабушка Лиза.

Мама утирает глаза полотенцем, встаёт, поднимает стопку, голоса умолкают.

— Мне снилось, — говорит она нараспев, — что доченька моя пришла вся в белом домой, не в халате, а в платье, будто свадебном.

— Мам, ну ты чего, — тихо говорит незаметно подошедшая Катя, но мама не слышит.

— Не успела я выдать замуж её при жизни, может быть, там она себе нашла мужа, офицера, с орденами. — Мама заходится плачем, шумно шмыгает носом, закашливается, сглатывает. — Каждый день поминаю, зачем отпустила...

Катя тянет её вниз за рукав, мама валится на лавку, опрокидывает стопку.

Стол снова заставлен едой. Баба Лиза откусывает кусочек пирожка, на зубах у неё что-то хрустит, она стряхивает с губ чернозём. Тётя Люба кладёт на тарелку слоёный салат, земля с сорной травой перемежается подтаявшим снегом и охряным суглинком. Дядя Семён отпивает из стакана, и по его подбородку стекает мутная капля воды.

— Много там наших полегло, — говорит он, опустив голову, — я каждый день прошу у Бога, чтобы меня забрали, грешно чужой кровью откупаться. Давайте за Колину дочку, главное, чтобы боли она не почувствовала...

— Дядя Семён, зачем меня хороните-то, — Катя повышает голос, — раньше времени-то не надо. — Она дрожит, и всё вокруг двоится от выступивших слёз.

Катя отводит взгляд к окну — участок весь залит водой, она прибывает и уже почти достигает окон. Она охает, смаргивает, вода пропадает. Все не чокаясь выпивают. Бабушка Лиза говорит:

— Так было надо, её Бог призвал пораньше. Будет там ангелом у Него, она пожить-то не успела, таких делают сразу.

Катины руки покрываются мурашками, спину пробирает озноб, как из-за сквозняка. Вадик подходит к её маме, наклоняется.

— Тётъ Тань, я вот Катьке не успел сказать, а так хоть вы будете знать. Я в неё влюбился сразу, в школе ещё. Просто как молния сверкнула, и всё. Я больше не могу думать ни о чём, тёть Тань...

Катя не может вдохнуть, чувствует во рту привкус крови, встаёт из-за стола и бежит к двери. На улице свежо и уже начинает светать, ночь прошла незаметно. Она садится на лавку около калитки, зажигает сигарету, затягивается, бездумно выдыхает. Соседи, не прощаясь с ней, расходятся. О ноги трётся кошка, Катя гладит её мордочку, та щурит зелёные глаза и урчит. Пошатываясь, выходит дядя Семён, Катя окликает его:

— Дядь Семён, в город отвезёшь?

Он оглядывается на неё с испугом.

— Я только рюкзак возьму. — Катя встаёт.

Дядя Семён отшатывается, спотыкаясь, уходит, подволакивая левую ногу.

— Дядь Семён, ты куда? — кричит Катя. — Автобуса-то нет, отменили. Мне через шесть часов надо там быть уже. Как я доеду-то?

Кошка следит, как чёрное перо, радужно переливаясь, планирует и приземляется на дорогу.

Мария Затонская

Отменяя тяжёлую речь

* * *

я тебя называю и тогда ты поёшь
из тишины вырастаешь как будто храм
к которому издалека идёшь
поклоняясь облаку дереву и кустам
снегирь к снегирю веточка к веточке или сон
будто долго идёшь по лесу и не поймёшь о чём
снегопад замирает на полпути
до руки долетев едва
как будто молитва такая но не подберёшь слова

* * *

какие приглушённые леса
сюда въезжаешь время узнавая
и человек на том конце полей
вникает в исчезающие звуки
не голоса а только шепоток
меж синих сосен долгий беспристрастный
волнуется прохладное пространство
и кто-то ждал меня но я не знаю кто
ты говоришь едва ли существуя
окно автобуса и жизнь мою минуя
и смерть минуя воробей щегол
как сердце лёгок как душа тяжёл

Затонская Мария Романовна — поэт. Родилась в 1991 году в г. Сарове. Окончила Государственный институт русского языка им. А.С.Пушкина в Москве. Публиковалась в журналах «Арион», «Новый мир», «Звезда», «Знамя» и др. Автор трёх книг стихов, среди них «Люди идут по облаку» (М., 2023). Главный редактор журнала «Пролиткульт». Лауреат Национальной премии «Русские рифмы» (2019) и Международной премии им. Иннокентия Анненского (2021) и премии «Лицей» (2025). Живёт в г. Сарове.

* * *

я буду дерево растущее на вершине холма
будет пруд подо мной голубой как луна
как нежность сама которую не пойму
отправляешь письмо забываешь кому

какое же лёгкое письмецо
азиатское как твоё лицо
с чем бы ещё сравнить:
быть
говорить отменя тяжёлую речь
или прятать скворцов в глубине листвы

каждое слово подрагивает на ветру
едва касаясь другого неуловимым жестом
вспоминаньем о луге
когда на нас так смотрели

* * *

это сосна гудит с той глубины
куда не достаёт рука
река длинная узкая смотришь издалека
нет не моя — чья-то тень колыхнется на ветру
на высоте обрыва это не я смотрю
деревья горизонтальны как будто по ним пройти
не сойти с ума на середине пути
кто-то уже залез и ползёт по длине ствола
а потом не смогла
не смогла говорит и ушла

голоса раздаются каждый из своего окна:
кто там всё ходит
заблудилась что ли
пьяна?
на столбе висит: покупайте шубы рога копыта
кот потерялся вознаграждение
дальше размыто

тополь тропка речь моя имена
я не пойду в эту реку искать в ней дна
в ней нет дна
а самое страшное что вокруг меня
нет никого кроме бога — даже меня

бог налаживает ветки готовит к зиме
бог обновляет вывески в тишине
кто-то видит как он оборачивается в тишину
и я наконец молчу ему одному

* * *

а потом померещится человек пришёл
так вот и быть остался взамен всему
рощицей воробыиной будущей
когда они там висят как яблоки по весне
если б кому рассказать
никто не поверит
скажут было тысячи лет назад
не сейчас не сегодня
широкое это время
сад
в котором вдвоём уместиться всё-таки можно

* * *

я представляю как мы ходили по этой горе
и гнёзда над нами недвижны на ветру
голые ветки в которых хрустели синички
а это дятел ты говорил и вставал на носочки
тебе в лесу нравится? нравится больше всего
если заблудишься не найдёшь себя самого
осинник повсюду а дальше склон
маленький твой городок нет уже не он
долго спускались скользили по вышине
по простыне земли к самой окраине
я выходила наружу помнишь плыла
нет говоришь ты так и не вышла

Алексей Колесников

Звериная сила великой любви

Рассказ

Только раки пучеглазые
По земле во мраке лазают.

К.И. Чуковский

I

Единственную внучку Ерохины баловали. Дочка привозила её в деревню из Подмосковья на август третий год подряд. Вот и в то лето, когда у Николая с женой пошёл окончательный разлад, внучка тоже гостила у них. Лишь ребёнок и уберегал их от склок.

Николай был из тех, кто от других требует больше, чем от себя. А его жена Вера с детства терпеть не могла мелочных попрёков. Об это и бились всю жизнь, а в тот год дошли до предела.

Вера пару месяцев как вышла на пенсию (Николаю по реформе накинули ещё пяток), и теперь её в деревне, кроме опостылевшего мужа да их грошового домика, ничто не держало. Она просыпалась рано, как прежде на работу, готовила что-нибудь незатейливое, а в остальное время смотрела телевизор. Скучно, — пойти некуда, подумать не о чем. А тут ещё Николай вернётся с работы, усталый, злой, и давай цепляться: «Перебрала бы банки в погребе — половина со ржавыми крышками». Или: «Что ты всякую ерунду смотришь? Вот для таких, как ты, они эту муру и снимают».

Живность они потихоньку подрезали и складывали в морозилку, будто оба уже согласились с гибелью совместного хозяйства. Осталось только четыре курицы. «К осени прирежу последнюю и уеду в материну квартиру», — грозилась Вера.

Николай понимал, что характер у него вполне себе склочный. Но не уходить же из-за такого пустяка. Почти тридцать лет за плечами. Поздно метаться. Расстаются до седых волос, а после — знай крепись.

Колесников Алексей Юрьевич родился в 1993 году в Белгороде. Образование высшее юридическое. Печатался в журналах «Новая Юность», «Нева» и др. Живёт в Белгороде.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2024, № 12.

За неделю до конца деревенских каникул внучка притащила в дом мусорный пакет с неясным содержимым. Хитро улыбаясь, пятилетняя девчушка стояла в дверном проёме кухни, загораживая закатное солнце, и не торопилась ничего объяснять.

— Это что там? — почуяв недоброе, спросил Николай.

— Дедушка, ты только не ругайся.

— Ага, может он не ругаться! — отозвалась Вера, переворачивая ароматный блин на чугунной сковороде. (Один у неё незаметно упал на пол.)

В пакете оказались два слепых, неподвижных, головастых котёнка.

— Им от роду дня три! — сказала Вера. — Какая же это скотина их выбросила? Коль, наверное, те идиоты, что крайнюю хату купили. Бабы Катушки избу, понял? Молодые... как их...

— Да понял я, — сказал Николай, тронув рыжего головастика пальцем.

Тот дёрнул розовой задней ногой и сильнее прижался к братцу — чёрному головастику. Они походили на эмбрионов из рекламы витаминов для беременных, только с мохнатыми мордочками и прозрачными мягкими коготками.

Размером они были не больше указательного пальца Николая. Ротыки со спичечную головку, глаза зажмурены, животы раздутые. И не то что ходить — ползать ещё не научились. Тихо вскрикивая, они показывали белые языки.

— Я таких и не видела никогда, — сказал Вера, — уши острые, тельце как сосиска, — это вообще коты?

— Ну а кто же ещё?

— Мало ли. Нужно кормящей кошке их снести.

Николай строго посмотрел на Веру.

— Я виновата, да? — она обтёрла руки о фартук. — Не могу я следить за всем. Детское сердце доброе. Схватила и притащила. Я при чём?

— А при том! Она у тебя спрашивала недавно: почему у нас кошек нет? Помнишь, что ответила?

— Нет!

— «Завести надо, внучечка», — вот что!

— О Господи! Да при чём тут это?

— Да при том! — прикрикнул Николай. — Болтать меньше надо. А думать больше!

— Как же ты со мной мучаешься с такой безмозглой!

Внучка вынула котят из коробки и положила на пол. Они затряслись и нелепо свернулись в калачики.

«Как уснут бабы, — утоплю», — решил Николай, по-хозяйски сминая мусорный пакет, в котором внучка притащила живность.

Котят к пруду Николай не отнёс. Решил дождаться отъезда внучки. Кошку в тот вечер, да и в следующий, не нашли. У соседей — кот, дальше по улице ещё хуже: то нет кошачьих, то кошка старая, то «породистая у нас, вы её испортите», то люди чужие, нездешние.

— Дожили, — сокрушался Николай. — Летом в деревне кормящей кошки не найти!

И ещё сообразили, что котят завезли из близлежащего посёлка Вороновка.

В первую ночёвку котят накормили из старого шприца коровьим, разведённым водой молоком. Внучка не выпускала мокроносых детёнышей из рук до самой ночи и уснула с чёрно-рыжим счастьем под боком.

Утром соседка Лошкина дала Вере мастер-класс по выхаживанию таких, рано отлучённых от матери, котят. Открылось много нового. Во-первых, лактозу им нельзя — сдохнут. Нужно купить специальное сухое молоко для котят. Во-вторых, из шприца нельзя. Котёнок должен имитировать сосание пищи, иначе она неправильно усвоится, и он сдохнет. В-третьих, без кошки крохи не умеют самостоятельно испражняться свои мочевой и кишечный мешочки. Во время вылизывания кошка добивается того, чтобы детёныши сделали свои дела, а в отсутствие матери это следует делать двуногим хозяевам собственными пальцами, иначе будет заворот кишок, что приведёт к мучительной гибели. В-четвёртых, котят нужно подкладывать бутылку с тёплой водой, иначе они простудятся и сдохнут. Ну и в-пятых, таких маленьких выходить почти невозможно, скорее всего, они сдохнут.

У Николая на сердце сделалось легче: раз всё одно сиротам не жить, то получается, что он — Николай — облегчит кошачьи муки, когда уложит приёмышей в пакет, завяжет потуже, проделает отвёрткой несколько дыр для воды и с сумерками опустит его, утяжелённый кирпичом, в пруд с того самого любимого мостика, выстроенного отцом Николая, некогда главным в деревне рыбаком.

Впрочем, нужно было дожидаться внучкиного отъезда, а это ещё шесть дней.

Выве миску супа, Николай отправился на своей травяного цвета «четвёрке» в посёлок искать кошачье молоко и пипетку.

Вернулся только после обеда. Такой злой, что, увидев его, Вера поняла: «Нажрётся сегодня». Правильно угадала. Николай швырнул на пол целлофановый пакет с покупками, сел за кухонный стол ко второй за день порции супа, ловким движением выудил из пространства между кухонными антресолями банку с самогоном, строго посмотрел на внучку, таскающую по ковру котят, налил в гранчак с четверть его объёма, выпил и сказал:

— Четыре ветаптеки объехал. И не знал, что их столько в посёлке! Бутылочку с пипеткой почти сразу, а корм поискать пришлось.

— Сколько? — осторожно, как подсудимый о приговоре, спросила Вера.

— Семьсот!

Внучка рассматривала пластиковую бутылочку грамм на сто с резиновой пипеткой. В комплекте с ней шёл ёршик для чистки.

— Боже мой! — сказал Вера. — Они с ума сошли! Конец миру.

Николай на это злобно кивнул: мол, ты и не представляешь масштабы апокалипсиса.

Врезав ещё пятьдесят граммов, он сообщил, что четверть килограмма сухого кошачьего молока стоит пять тысяч рублей.

— Кашиное! Кашиное молоко, — сокрушался Николай, расхаживая по кухне. — Брать и стрелять! Пять тыщ! Пя-яять!

Поникая внучка сидела на полу у холодильника, прижав котят к груди, и смотрела на деда слезящимися глазами. Даже эти слёзы стоили меньше, чем пять тысяч рублей.

Вечером внучка и Вера приготовили всё для отправления кошачьих потребностей. Николай с отвращением наблюдал, как жена массирует орущее кошачье отродье. Потом было много радости от того, что «рыжий пописал». Вера трясла пожелтевшей марлей и хвалила котёнка. Рыжий потом ещё и испражнился бурой пастой. А вот чёрный — нет. Раздувшись как шарик, он напоминал массивный брелок к ключам; тревожно не пищал.

— Получается, второй день в туалет не ходит. А сколько ещё до этого не ходил. Сдохнет. — Вера чесала чёрного одним пальцем, а внучка плакала.

Разведённой кипятком смесью котят кормили каждые два часа. Вера и ночью вставала два раза, а Николай терпеливо ждал, пока прекратится кошачий писк и жена вернётся в постель.

Придя на следующий день с работы (с элеватора), Николай застал тоскливо вглядывающуюся в окошко Веру. Внучка плакала, сидя за столом, опустил соломенную головку на руки. «Чёрный сдох», — подумал Николай и вдруг обнаружил в душе тревогу.

Он не сдох, а сдыхает. «Не сходил» до сих пор. От еды отказался, лежит — не шевелится.

— Как там его дрюкать? — Николай схватил чёрного, сунул два пальца ему под хвост, нащупал каменный живот и принялся его массировать. Котёнок закричал что есть мочи. Даже щёлки его нераскрывшихся глаз увеличились. Женское племя заохало.

— Потекло, — обрадовался Николай.

— Да это он ссыт, а по большому не ходит, — сказала Вера.

Жёлтое текло по руке Николая и пряталось в рукав его рубашки.

— Вот угораздило тебя, Ленка! — Николай положил котёнка на кухонный стол и метнулся к двери, потом, ругаясь, спустил котёнка на пол и вышел. Вернулся с солидоллом на мизинце. Обработав кота под хвостом, опять принялся яростно стимулировать. К должному результату это не приводило. В какой-то момент Николай почти выжимал кота, а тот орал до полной потери сил.

Николай задумался. Выкурил сигарету, глотнул компота, а потом отдал кота внучке и ушёл. Заревел мотор «четвёрки». Вера и Ленка переглянулись.

Николай вернулся с микроклизмой, купленной в единственной местной аптеке. Заглянув чёрному под хвост, он констатировал:

— Не пролезет.

Далее он смастерил для маленькой клизмы переходник из какой-то пластмасски и приказал Вере:

— Держи кота.

Вера перевернула котёнка вниз головой, отвела чёрный хвост. Скривившись, Николай точным движением клизмировал кота, отшвырнул тюбик и заткнул пальцем сочащееся из котёнка лекарство. Так они постояли с минуту, а потом

отпустили пациента. Он проворно пополз на передних лапах (задние ещё не работали) к коробке из-под туфель.

Все, и даже, казалось, рыжий, насторожённо наблюдали за чёрным минут сорок. Котёнок спал как убитый. Не выдержав, Николай опять принялся за упрямый кошачий живот.

Вдруг, спустя минуты две, послышался трескающий звук. Котёнок умолк и вытянулся, как ныряльщик.

— Пошло, — обрадовался Николай. — Дайте тряпку. Ого! Бедненький мой, маленький.

2

Дочка приехала злая — неудачный отпуск. Забрала внучку, отказалась ночевать, а насчёт котят сказала: «Да вы ополоумели!»

Утопить хвостатых сирот после недельной заботы Ерохины уже не помышляли. Решили, что выпустят на волю, когда подрастут.

Шли осенние недели. Котята научились стоять, вскоре ходить и даже неуклюже бегать. Открылись голубые слезящиеся глаза. Сентябрь заканчивался холодами, поэтому котят было определено тёплое надёжное место — коробка со старым пушистым свитером. Там они спали и оттуда требовательно пищали с первыми признаками рассвета. Вскоре уже они обрели привычку выползать из коробки, шмякаться на пол и искать своих двуногих богов.

На исходе месяца сухое молоко закончилось, а выдавленный из шелестящей упаковки мягкий корм котят по-прежнему игнорировали. Николай намазывал кошачьим паштетом палец и совал котят. Выпучив глаза, те царапали руки Николая, пытаясь сбежать. Работать челюстями отказывались.

Николаю пришлось купить ещё один пакетик смеси. В этот раз он был рад, что попал под акцию: скидка 5%. Также он приобрёл питомцам пластмассовый лоток — котят научились самостоятельно мочиться.

На этом радостные перемены заканчивались.

В первых числах октября, после очередного скандала, Вера собрала вещи и уехала. (Как раз дорезали куриц.) Говорила, что давно было пора, а она всё тянула и тянула — нечего тянуть. Осень — лучшее время для расставаний.

Они ругались. Обессилен от хождений по кругу, Николай иногда говорил: «Верка, маешься ты ерундой. Прекращай уже!» Веру это предельно выводило из себя. Желая доказать серьёзность своих намерений, она наняла юриста в посёлке и через него обратилась в суд с заявлением о разводе.

С мебелью, посудой и прочим имуществом решили разобраться позже. Николай обещал, что выплатит половину от стоимости «четвёрки», когда накопит, просил не ввязываться в делёжку имущества через суд. Вера заверила, что не претендует на часть дома, доставшегося Николаю от родителей. (С первых месяцев брака Вера возненавидела деревню, а Николай вскидывал брови и твердил: «Батин дом, батин дом». Именно под его давлением она отказалась

от квартиры в городе, которую ей намеревался подарить расточительный брежневский режим.)

Сложнее было с делёжкой котов. Обсуждая дальнейшее отдельное существование, казавшееся последние лет тридцать невозможным, супруги обходили стороной кошачий вопрос. Вере больше нравился чёрный, но ни чёрного, ни рыжего брать в город она не хотела. Николай тайно рассчитывал на обоих.

— Ну, коты с тобой, да? — спросила, наконец, Вера как бы между прочим, укладывая в сумку так и не использованное приданое: белую из прошлого века скатерть и какие-то наволочки.

— Получается, так.

Оставшись один впервые за много лет, Николай вдруг ощутил юношескую беззаботность. Вернулось давно забытое чувство свободы. Он включил телевизор, выбрал канал со старым, уютным, как варежки, советским фильмом и принялся варить макароны, пританцовывая. На душе было хорошо оттого, что моральная правота за ним — оставленным. Что-то приятное: деликатное и мягкое щекотало сердце. Произшедшая перемена не пугала, а по-свойски подмигивала, как не забывшая лучшие дни первая любовь. В последний раз такое ощущалось, когда вышел за ворота армейской части.

Пару дней (как раз были выходные) он попил, не забывая кормить котят и помогать им с туалетом. Имена он им не давал, называя просто: чёрный и рыжий.

Уже на этом жалком постэмбриональном этапе у них проявлялись индивидуальные черты характера. Рыжий оказался энергичным, громким, сильным и быстрым. Мгновенно всасывал содержимое бутылочки, без лишнего кокетства испражнялся и убегал исследовать дом, широко раскрыв вечно удивлённые глаза. Набегавшись, накувыркавшись, он засыпал и беспробудно спал по несколько часов к ряду. Чёрный же был меланхоличным и постоянно заглядывал в глаза Николаю. Посасывая бутылочку, он исцарапывал коготками руки кормильца, а услышав матерные крики, замолкал и обидчиво отказывался от еды. Приходилось потом уговаривать. В туалет ходил нехотя и нестабильно. Из-за этого Николай не раз опаздывал на работу. Во время борьбы чёрный всегда ложился на спину, расставлял передние лапы, раскрывал пасть и вот так неэффективно отбивался от атак скачущего над ним рыжего братца.

Вскоре коты научились прыгать и карабкаться на ворсистые поверхности. Рыжий, отчаянно крича, заползал на спинку кресла или на штору. Чёрный так не умел. Он забирался на диван, чтобы уместиться к Николаю на колени.

После приёма пищи рыжий носился по дому, приглашая в чехарду чёрного, или Николая, или косящегося из угла паука, или хотя бы картофельные очистки — словом, кого угодно. Эту огненную бестию невозможно было унять. Николай ловил кота, укладывал его рядом со вторым к себе в ложбинку между пузом и грудной клеткой, гладил и, дождавшись их отключки, засыпал сам.

Так они прожили до зимы.

Максим Гуреев

Святая гора

Рассказ

Из окна квартиры, в которой Таня жила вместе со своей матерью — технологом алкогольного производства на пенсии, — была видна гора на краю посёлка, построенного здесь ещё в начале семидесятых для работников винодельческого совхоза. Двухэтажные панельные дома, украшенные мозаикой из осколков битого стекла и керамической плитки, напоминали пёстрые цыганские кибитки, в беспорядке сгрудившиеся у подошвы перевала, когда никто не решается первым начать восхождение. Ещё бы — ведь горные тропы петляют невообразимо, полынь пьянит до галлюцинаций, высоковольтной линией оглушительно трещат цикады, а жар стелется по-над проволочными зарослями боярышника и скумпии, клубится, погружая всё в мерцающее марево, от которого слезятся глаза.

Туда не то что идти, смотреть-то страшно.

Посёлок замирает, не имея сил ни пошевелиться, ни подать каких-либо иных признаков жизни, и только мозаики переливаются на солнце бутылочной зеленью, вмурованной в выгоревшую бетонную кашу со следами побелки, а керамические руки работниц вновь и вновь возносят к небу то гроздь винограда, то счастливых загорелых младенцев, которые в свою очередь тянутся к голубям, выложенным из мраморной гальки под самой шиферной крышей.

На чердаке жили голуби.

Они громко ворковали, бились своими пергаментными крыльями о деревянные перекрытия, выглядывали из окна и примеривались к полёту хотя бы до рукотворных террас на известняковых склонах, ещё до войны засаженных

Гуреев Максим Александрович родился в Москве в 1966 году. Окончил филологический факультет МГУ, занимался в семинаре Андрея Битова в Литинституте. По профессии — режиссёр документального кино, снял более семидесяти лент. Печатался в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Новый мир», «Знамя», «Вопросы литературы» и др. Автор множества книг, в том числе «Сергей Довлатов. Остановка на местности» (2020), «Фаина Раневская. История, рассказанная в антракте» (2022), «Чудесный отец» (2022), «Андрей Битов» (Серия ЖЗЛ, 2023), «Даниил Хармс. Застрявший в небесах» (2023). Дважды лауреат премии «ДН». Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в журнале — 2025, № 1.

островерхими туями, то есть ровно до владений чёрной, покрытой густым непроходимым лесом горы, зорко охраняемой ястребами.

В посёлке эту гору всегда называли Святой, потому что на её вершине находилась могила некоего дервиша по имени Кемаль, якобы исцелявшего больных, а также кормившего с рук диких животных, приходивших к нему, когда он читал суры Корана.

Уже когда вышла на пенсию и заболела, мать любила рассказывать Тане, как ещё в молодости она, будучи членом парткома совхоза, вместе с товарищами поднималась на Святую гору, чтобы раскопать могилу дервиша и на её месте установить памятный знак с посланием к виноделам будущего. После того, как рабочим тогда удалось отвалить прямоугольную плиту, покрытую арабской вязью, неожиданно начался проливной дождь, и пришлось срочно спускаться вниз, спасаться бегством то есть. В этой суматохе она потеряла фотоаппарат, который взяла с собой, чтобы запечатлеть на плёнку процедуру установки памятного знака — сварной металлической пирамиды, выкрашенной железным суриком.

Свой рассказ мать всегда заканчивала на плаксивой ноте, потому что очень сожалела, что приняла участие в том разорении захоронения на Святой. А ещё, как она утверждала, ей постоянно снился дервиш Кемаль, который приказывал ей подняться к нему на гору, ибо он хотел вернуть тот самый потерянный ФЭД с гравировкой «Ударнику социалистического соревнования Людмиле Андреевне Дорофеевой», что был ей подарен на день работника сельского хозяйства лет тридцать назад, если не больше.

Однако мать страдала заболеванием суставов и гипертонией, и никак не могла выполнить волю святого. Впрочем, Кемаль был терпелив, он вновь и вновь являлся ей в видениях, неизменно держа в левой руке кожаную кобуру фотоаппарата, а в правой — пачку отпечатанных снимков, напоминающую стопку старых, пожелтевших от времени, туго перетянутых бечёвкой писем.

«Что в тех письмах и на тех фотокарточках?» — Вопрос возникал сам собой. Но в ответ дервиш лишь с сожалением качал головой, — ведь это были чужие письма и чужие фотографии, и ему не было открыто знание о них.

Сейчас Таня выходит на кухню, ставит чайник на огонь и закрывает окно.

В ноябре Святая гора начинает дышать холодом.

Пронизывающий ветер раздвигает кущи на склонах, перемещает по откосам и ущельям камни, чтобы они окончательно приникли к земле, уgomонились, заполнили бы все прогалины, ямы, вырытые летом животными в поисках спасения от изнуряющей жары, скальные трещины и перезимовали бы в них безо всякого движения, забыв о нём до весны.

Вот они со скрежетом прижимаются друг к другу, и вскоре их уже невозможно будет развязать, сдвинуть с места. После проливных дождей и заморозков, что ударят внезапно, камни смёрзнутся в единую массу и начнут отвечать ветру пронзительным ровным свистом, кромсая его потоки, разрезая их на ровные полосы-ленты, которые унесутся в долину и обовьют островерхие туи. Но если камни находят самую высокую ноту в бесновании ветра, то деревья,

напротив, самую низкую — гудят ревунами, подменяя тем самым шелест утробным мычанием, слышимым за многие километры.

А потом наступает весна, с которой в горы приходит вода. Она вытаивает из грязного шербатого снега и кусков льда с застрявшими в них ветками и осколками камней. С грохотом несётся этот поток вниз, будто вырывается из крана, толчками разрешаясь комьями земли, шуршит, шелестит, шипит, шепчет...

Хоть посёлок и расположен в середине долины, гора всё равно теснит его, оказывается совсем рядом, и особенно зимой эта близость становится пугающей. Кажется, что Святая надвигается, меняя ландшафт, сглаживая распадки, засыпая балки породой вперемешку с вырванными с корнем деревьями. Оставляет за собой путь, отмеченный безобразными, то есть лишёнными всяких внятных очертаний-образов, скалами-вехами, скалами-зубами.

Зубы щёлкают.

Вехи не запоминаются.

Летом же всё происходит совершенно по-другому.

В раскалённом воздухе гора возвышается где-то совсем на горизонте, мерно выдыхает в выгоревшее, как бельё на палящем солнце, небо горячий вулканический дух, видится пологой кручей, совершенно не отличимой от себе подобных. Даже становится ниже, распластавшись по прилегающим холмам, затерявшись среди виноградников.

В совхоз мать распределили после окончания сельскохозяйственного института. Сначала её поселили в общежитии для молодых специалистов, приехавших в посёлок издалека. Тогда-то она и познакомилась с будущим отцом Тани — художником совхозного дома культуры по фамилии Ефимов.

Он и пристрастил её к фотографии, кстати сказать.

Вскоре после того, как родилась Таня, молодым дали квартиру в только что построенном двухэтажном панельном доме, украшать торцевые стены которого мозаикой по слухам приезжали художники из самой Москвы.

Отсюда из окна второго этажа Таня впервые и увидела гору.

Тогда она показалась ей совсем небольшой, лежащей на подоконнике и укутанной занавеской.

Занавеска раскачивалась на сквозняке и раскачивала гору, меняя её очертания, то приближая, то удаляя, то уменьшая, то увеличивая, обманывая тем самым руку, что тянулась к ней, но словно бы при этом попадала в воду, из глубины которой всплывал невразумительный силуэт чёрной громады, покрытой то ли водорослями, то ли косматой бородой.

У Ефимова была борода, как у геолога, и он её подстригал ножницами.

А ещё из этой воображаемой глубины исходило свечение.

Откуда оно бралось?

Да с улицы и бралось, потому что там уже включили фонари!

Таня выключает чайник, заливает кипяток в кружку, до половины набитую изломанными цветами и листьями пустырника, и накрывает её тарелкой.

Представляет себе, как там, в крошечной темноте и парной духоте, напоминающие дохлых насекомых разошедшиеся обрубки растений, целый

их непроходимый бурелом, начинают разбухать, пузыриться, издавая горьковатый запах, который при готовности отвара тут же улетучится и смешается с духом материнской малогабаритной квартиры: лекарств и обоев с вензелями, лакированной мебели и цветов на подоконнике, ковра на полу и старой обуви в полутёмной прихожей, дегтярного мыла и пудры, пеленой висящей в спёртом воздухе.

Это мать пьёт пустырник от бессонницы, он помогает от давления и успокаивает нервы.

«А вот что ты нервничаешь? Всё же у тебя хорошо — пенсию получаешь дай бог каждому, квартиру имеешь двухкомнатную со всеми удобствами, я тебя обслуживаю, потому что всегда под боком. Возраст, конечно, а как ты хотела? Или думала, что так и будешь бегать, как раньше? Нет, уволь, так не бывает. Отбегала своё, понимаешь, от-бе-га-ла», — всё это Таня произносит про себя и входит в комнату матери.

Мать сидит на кровати с закрытыми глазами, чтобы показать, что зажалась.

У неё с ожиданием вообще очень сложные взаимоотношения.

Так выходит, что всю жизнь она чего-то ждала: сначала возвращения Ефимова, который, когда Тане исполнилось два года, уехал на совещание культработников в Ленинград, потом, когда вырастет дочь и выучится на врача ждала, и наконец, когда её повысят до главного технолога.

Но ни одной из этих надежд не суждено было сбыться: Ефимов позвонил из Ленинграда через месяц и сказал, что встретил другую женщину, полюбил её и больше не вернётся, Таня не поступила в медицинский институт и пошла работать контролёром в бродильный цех, а главного технолога дали её лучшей подруге Тамаре Щемляевой, с которой они в своё время жили в одной комнате в общежитии для молодых специалистов.

Мать открывает глаза, берёт кружку двумя руками и отпивает из неё горячее варево.

Глотает с удовольствием, отпивает ещё.

— Что это? — спрашивает строго.

— Это пустырник, мама, пей.

— Вкусный, спасибо.

Потом мать останавливает взгляд на своём отражении в зеркале, что встроено в дверцу платяного шкафа.

Просит дочь открыть, потом закрыть, снова открыть и снова закрыть дверцу, потому что тогда она будет стремительно перемещаться по комнате, буквально носиться как угорелая, не прилагая к тому никаких усилий, — зрелище сколь увлекательное, столь и необъяснимое. Таня терпеливо выполняет её просьбу и сама попадает в поле зрения зеркала, сама начинает метаться в замкнутом пространстве комнаты вместе с матерью.

А ведь с этого-то шкафа-шифоньера, подаренного новосёлам товарищами матери по работе, по сути, эта квартира и началась. Пёрли тогда его на второй этаж всем миром, и он — шкаф-великан — сразу вознёсся тут до потолка, и казалось, что подпёр его, бетонные перекрытия укрепил, чердак, населённый

голубярами, а также шиферную крышу, по краям увитую керамическим виноградом, возложил на себя добровольно.

На первых порах за отсутствием в квартире другой мебели он хранил в себе всё: одежду и обувь, постельное бельё и посуду, книги и подшивки журнала «Виноделие и виноградарство», который выписывала мать. Постепенно шкаф раздувался от собственной значимости, пыжился, становясь вещью совершенно необходимой в том смысле, что его невозможно было обойти, не задев за угол, не упёршись в него лбом или иной частью тела, не ударившись в конце концов о его лакированные бока, которые, казалось, преследовали по всей квартире: и на кухне, и в прихожей, и в комнате Тани.

От шкафа решительно негде было укрыться, он настигал везде, разве что ванная, в которой Таня пряталась от него, закрывая дверь на задвижку, была ему недоступна, но он упорно ломился в фанерную дверь, злодей такой, сопел, бряцал металлическими ручками и скрипел половицами, норовя их раскрошить в труху.

Становилось страшно, хотелось кричать, однако звать на помощь было некого. И тогда, чтобы заглушить скрежет и храп, доносящиеся из-за двери, Таня пускала воду. Кран начинал дрожать и плеваться кипятком, а поток — биться о дно чугунной ванны. С шуршанием, шипением, шелестом и шёпотом, как в горах весной, вода в клубах пара устремлялась к чёрной дыре слива. Из неё тут же вырастала воронка и начинала крутиться волчком, раскачиваться, как рупор граммофона, из которого звучало:

Во дворе дотемна крутят ту же пластинку,
Ты сказал, что придёшь, хоть на вечер вернёшься сюда.
Вечер мне ни к чему, вечер мал как песчинка,
Я тебя подожду, только ты приходи навсегда...

Мать любила эту песню в исполнении Майи Кристалинской, делала её погромче и подпевала забранному пластмассовой решёткой динамику, что таился где-то внутри транзисторного приёмника.

Сначала подпевала тихо, едва слышно, но постепенно входила в раж и начинала громко выкрикивать: «Я тебя подожду, только ты приходи навсегда!» А поскольку слуха у матери не было, то выглядело это несуразно и глупо.

— Мама, не ори! — Тане хотелось заткнуть уши в такие минуты.

Стук в дверь ванной становился всё громче и настойчивей.

И тогда Таня в отчаянии затыкала уши, закрывала глаза так, что темень затвора начинала полосовать пылающие вспышки в виде беспорядочного переплетения красных нитей в образе пульсирующих клубков различной величины и формы. Усилие, впрочем, это не могло быть слишком долгим, паника отступала постепенно, промежутки между мерцающими вспышками сознания увеличивались, и становилось, наконец, возможным услышать доносящийся из-за двери голос матери:

— Танюша, не бойся, это я. Открывай скорее!

Андрей Оболенский

Консьержка

Рассказ

Я сбежал по лестнице вниз.

— Доброе утро, Изольда Генриховна, — заглянул в полуоткрытую дверь.

Иза, как называли за глаза нашу консьержку, сидела за обшарпанным письменным столом. Она чуть привстала и величественно махнула рукой. Хотела что-то сказать, но я промчался мимо. Не окликнула.

Я спешил. Сосед Витька Богданов, аспирант кафедры истории СССР, пообещал дать на три дня «Жизнь и судьба» Гроссмана, — у кого-то достал в списке. Ко мне, первокурснику, Витька относился свысока, приходилось терпеть, поскольку у меня к нему был особый интерес. Я поступил на истфак во многом потому, что давно увлёкся страшной и, по мне, так даже мистической историей сталинских времён. Читал всё, что не изъяли из библиотек после Хрущёва, и, главное, были ещё живы многие свидетели. Всё началось с моего дядьки по матери. Когда я был ещё классе в восьмом, он и заинтересовал меня своими рассказами. Дядька прошёл всю войну и страшно любил поговорить, всем надоев своими повествованиями, во мне же неожиданно нашёл прилежного и благодарного слушателя. Он много рассказывал такого, чего мне знать не полагалось, утверждая, правда, что сам ни в чём подобном не участвовал. О нравах в армии времён войны он говорил с упоением, поскольку, хотя сам и не сидел, Сталина терпеть не мог, впрочем, как и Хрущёва. Дядькины истории звучали для меня по малолетству захватывающе, а поскольку я был мальчик вдумчивый и увлекающийся, то окунулся в историю сталинских времён с головой. Это стало моей ну просто пламенной страстью, я всегда предпочитал книги всяким дворовым развлечениям. Гораздо позже, когда дядя Володя уже умер, попались «Воспоминания о войне» Николая Никулина, их мне подсунул тот же Богданов, и тоже в списке. Тогда я понял, насколько ценны люди, кто всё это видел и прошёл, потому как в книге Никулина и в откровенных

Оболенский Андрей Николаевич — прозаик, практикующий врач. Родился в 1960 году в Москве. Автор книги «7+2, или Кошелёк Миллера» (2019). Живёт в Москве. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

рассказах дядюшки многое совпало. А у Витьки была масса каких-то таинственных связей, он их, конечно, не раскрывал, но давал почитать много интересного.

— Привет! — Он, как всегда, спешил куда-то. — Вот, держи. Три дня. Сам знаешь, никому ни слова. За это и посадить могут.

Я рассеянно кивнул, а он, одарив снисходительной улыбкой, умчался, зажимая под мышкой пухлый потрёпанный портфель.

Я двинулся обратно домой. Присел на скамейку у входа, окинул взглядом двор, — пусто, мои подопечные выйдут гулять к вечеру, надо, кстати, новые шахматы купить, в старых две пешки потерялись, их заменяют куски рафинада. Я закурил и ещё раз осмотрелся. Мы жили тут с матерью с пятьдесят пятого, переехали сюда из Ленинграда, когда умер отец. Странно, но матери предложили квартиру в этом доме. Его как раз недавно отремонтировали, а построен он был в тридцатые для офицеров НКВД. Место в районе метро «Сокол» было тихим, довольно престижным, тут жили многие писатели и артисты, тогдашние кумиры народа. Дом выстроили по типу общежития, вход был один, вправо и влево на каждом из трёх этажей расходились коридоры, где были одно- или двухкомнатные маленькие квартирки, кухня отдельно — общая на каждом этаже и в каждом крыле. После ремонта дом некоторое время пустовал, мы были одни из первых, кто в нём получил квартиру. Позже туда массово заселили реабилитированных, хлынувших из лагерей. В дом селили особо важных: бывших военных в не малых чинах, дипломатов, крупных работников наркоматов, творческую, как тогда говорили, интеллигенцию. Они как раз и удовлетворяли мой жгучий интерес к упомянутой эпохе и просто в разговорах, а за шахматами — я имел разряд, — за каждой интересной партией, мне хоть что-то да рассказывали. С кем-то я подружился, бывал даже в гостях.

Я всегда выходил во двор часов в шесть, держа под мышкой шахматную доску, усаживался на скамейку и наблюдал, как *они* выходят на прогулку. Разные. Высокие, негнущиеся, обязательно в костюме и при галстуке, такие держали дам под локоток, а спину — прямо, иногда поднимали голову и, придерживая шляпу, смотрели в небо; что виделось им там? Или совсем другие, — наоборот, толстые, лысоватые, в широких светлых брюках, явно с глубочайшими карманами до колен, и в серых или бежевых толстовках, с яркими кричащими галстуками. Они говорили громко, на публику, размахивали руками, близко прижимались к собеседнику, дёргали его за пуговицу или воротник, в чём-то горячо убеждая, и казалось, что на собеседников брызжет их слюна. Дамы соответствовали: ситцевые платья или яркие сарафаны, туфли на невысоком каблуке и непременно носочки с кружевами чуть выше щиколотки. Ярко окрашены, волосы всегда с завивкой. Были ещё — безликие, одетые кто во что, серые и неприметные; они обходились без дам, смотрели набычившись. Такие обычно толпились у стола во дворе и забивали козла, иногда, пьяные, орали песни, но тут же утихомиривались, если кто-то делал им замечание. Я редко подходил к доминошникам, на мои вопросы они замолкали и сдвигались ближе друг к другу. При разговоре один на один что-то мычали и почти никогда не рассказывали ничего стоящего.

О чём думали все они, пережёванные родиной-матерью, выплюнувшей их в бывший дом НКВД? Что снилось им? Этапы? Лесоповал? Юные конвоиры с персиковыми лицами, ещё не бреющие бороды? Овчарки, заходящиеся в лае, с морд которых капает слюна и, кажется, не падает на землю, замерзая в воздухе? Я не мог представить себе, как живут они, как не потеряли ориентиры, почему они спокойны после всего, что было с ними, почему не испытывают ненависти ко всем, кто вокруг, кто не сидел и даже до сих пор славит Сталина. Как такое возможно?

За шахматами мне удалось сблизиться со многими, они были уходящей натурой. В их рассказах — всего лишь мелкие грани правды, которые, вот странно, виделись мне камушками в калейдоскопе; мы наблюдаем не их самих, а только отражения в зеркальцах, создающих целостный узор, — а именно он и есть эпоха. Постепенно у меня скопилось несколько толстых тетрадей, записи в них я делал сразу, по горячим следам, чтобы ничего не забыть. Я знал, что ни в учёбе, ни в будущей работе не смогу использовать эти тетрадки — на дворе стояла мутная эпоха товарища Суслова и меняться не собиралась, — но сделать я с собой ничего не мог и не хотел, было очень интересно, хоть и отвлекало от учёбы, дававшейся, впрочем, мне довольно легко.

Но речь в общем-то не о них, речь о нашей консьержке Изольде Генриховне Фонштейн.

Никто не мог вспомнить, как Изольда Генриховна появилась в нашем доме. Просто в один прекрасный день на общем собрании жильцов было решено, что для поддержания идеального состояния нашего дома, где поселились новообретённые страной граждане, просто необходим смотритель... надзиратель... нет это всё не то, слишком знакомо по лагерному быту. Остановились на редком тогда французском слове «консьержка», поскольку «вахтёр» тоже не очень подходило. На том и порешили. Но вот кто рекомендовал Изу, никак вспомнить не удавалось, — по молчаливому согласию считали, что она возникла из ниоткуда. На первом этаже у лестницы освободилась квартира, освободил её старичок, бывший в начале тридцатых послом в Китае и севший за шпионаж. Верхушка общего собрания написала челобитную, собрала подписи и пошла по инстанциям. К бывшим зекам пока ещё благоволили, и неожиданно быстро Изольде выделили квартиру, из части которой и устроили консьержную; Иза жила в дальней комнате, вход туда был закрыт плотной занавеской, а в самой консьержной стоял стол, висел портрет Брежнева, по бокам от него, словно почётный караул, стояли два высоких огнетушителя.

Изольда была дамой лет прилично за семьдесят, слово «дама» подходило к ней лучше всего: такая мощная женщина, всегда высоко державшая подбородок. Она носила гипюровые блузки разных цветов, голову украшала высоченной причёской, для которой были необходимы костяные шпильки, всегда в количестве нескольких штук лежавшие на столе, за которым она с исключительной важностью восседала. Её немного отёчные пальцы, в один из которых намертво врезалось пузатое золотое кольцо, эти шпильки постоянно перебирали. Голос у неё был низкий, она всегда говорила значительно, негромко, что заставляло напряжённо вслушиваться в её слова и добавляло к ней почтения. Все жильцы,

включая генерала Троицкого и бывшего секретаря Президиума Академии наук Веснухина, побаивались её и никогда за глаза не называли Изой, в крайнем случае Изольдой, без отчества. То ли дело мы с Витькой и немногие молодые ребята, жившие в доме. Мы хихикали над ней, но в глубине души тоже испытывали к Изольде странный пиетет. И не могли понять, почему так происходит.

Кажется, что Иза никогда не спала. Я часто возвращался после полуночи — время на короткие встречи с девушками оставалось только поздними вечерами, — но даже когда дверь подъезда была заперта, стоило только нажать на звонок, как свежая, незаспанная Иза сразу открывала её, будто ожидала звонка с другой стороны. Мягко журила за полуночные гулянки, желала доброй ночи.

Был, правда, у неё один пунктик: уж очень болезненно относилась она к еврейскому вопросу. По делу и нет часто принималась рассказывать, что она не еврейка, о чём говорит приставка «фон», давным-давно слившаяся с фамилией, ставшей знаменитой во времена Левонского Ордена. Она этим Орденом всех замучила настолько, что однажды бывший замнаркома государственного контроля Наум Абрамович Шехтман при всех отчитал Изу, сказав, что все одну баланду хлебали и нечего тут. Она прикусила язык и больше на еврейскую тему не распространялась. Когда такие разговоры возникали при ней, тихо исчезала.

Я потянулся, ещё раз оглядел двор и пошёл домой читать Гроссмана. К вечеру следовало зайти к бывшему замнаркома Арсеньеву, он благоволил ко мне, обещал напоить чаем и дать почитать свой дневник тридцать шестого года.

По дороге хотел заглянуть в консьержную, но дверь была заперта. По вторникам там устаивались какие-то закрытые чаепития с сахарными плюшками, которые Иза пекла замечательно. Кто на этих чаепитиях присутствовал, было покрыто мраком, только известно, что все там были свои, из жильцов дома. Подъезд оставался безнадзорным, входная дверь не закрывалась до утра. Жильцы на общих собраниях пытались жаловаться, но всё оставалось по-прежнему, а жалобщики почему-то быстро замолкали. Я не мог понять, в чём дело, спросил у Леонида Петровича Багдасарова, очень много рассказавшего мне о нравах в армии перед войной. Тот отчего-то слегка изменился в лице, однако взял себя в руки и ответил, что человеку в его звании вряд ли прилично распивать чай в компании консьержки. Багдасаров попал в лагерь сразу после Победы, тогда сажали многих, дабы народ не творил себе кумиров из боевых генералов.

Встретив в деканате Витьку Богданова, я спросил его об этом же. Он перехватил другой рукой свой неизменный, вечно набитый неизвестно чем чёрный портфель, и с изумлением воззрился на меня.

— А почему тебя, Ступин, это интересует? — спросил после паузы. — Хочешь выведать тайны нашего дома? Да, они есть, и их немало...

— Да нет, — промямлил я, — просто интересно.

— Ага, — Витька неприятно прищурился, но тут же улыбнулся. — Ничего не бывает просто. Ты думаешь, тебя истории учат в Универе? Не-а, всего лишь

марксистскому взгляду на разные события. А на самом деле история — продажная девка, она даёт всем, причём в любых позах, в каких потребуют. Так вот, у Изы и обсуждают, в какой позе она давала доброму человеку, носившему старого образца генеральский мундир без знаков различия, который упёк всех действующих лиц в лагеря валить деревья и поднимать коммунистические стройки. Они считают, что это важно. Во избежание повторения. А может, от страха. Он их до сих пор жрёт.

Я примерно понял, что он имеет в виду, но чёткого ответа всё-таки не получил. Через пару дней на кафедре я снова пристал к нему как банный лист, поскольку не сомневался, что он что-то знает.

Витька понял, что я не отвяжусь.

— Ладно, — вздохнул он. — Ты парень хороший, хоть и наивный... надёжный, не первый год знакомы. Приходи ко мне четвёртого марта, в половине двенадцатого вечера примерно. Это будет через две недели... нет, через три. Такую интересную штуку сможешь увидеть, что век не забудешь. Ты меня ни разу не подводил, но, если об увиденном вякнешь кому, никто не поверит, но слухи пойдут. Я отбрыкаюсь, а ты себе карьере можешь испортить.

Я удивился, но расспрашивать не стал, всё равно ничего не скажет, сам увижу. Я понимал, что Витька не шутит и какая-то интрига, вероятно, завязанная на Изу, существует. Внутри дома, несомненно, давно определились группы, объединённые общим прошлым, но у которых разнились взгляды на настоящее и будущее, и это не могло не создавать неких козней, учитывая, что все здесь соседи.

Четвёртое марта приближалось. Во дворе я Витьку не встречал, мы оба были заняты с утра до ночи, а вот на кафедре один раз столкнулись. Он пробежал мимо, но, увидев меня, остановился.

— Что, Ступин, не передумал? Придёшь? — Он бросил портфель на оказавшийся рядом стул, поправил буйную шевелюру, снял очки, сунул их в нагрудный карман и уставился на меня.

— Чегой-то я должен передумать? — подозрительно спросил я. — Сдаётся мне, Богданов, темнишь ты что-то. Только зачем тебе, надежде факультета, шутки шутить с каким-то первокурсником?

Богданов достал очки из кармана и водрузил на нос. Потом снова снял и засунул в карман. Я знал Витьку давно и помнил, что это говорит о волнении.

— Увидишь, какие это шутки. О тебе, дурак, забочусь. Разочарования ранами опасны, Евтушенко заметил. Нет, у него, кажется, про очарования, да неважно. Вот бросишь Университет, в армию придётся идти, и потерян ты для советской науки. Жаль будет, парень ты пытливый и талантливый.

— Спасибо, конечно, — я разозлился. — Но ты объясни хоть что-нибудь. Я не желаю, чтобы ко мне относились как к пацану.

— А ты пацан и есть. — Витька снова закинул очки на нос. — Поэтому и опасаясь. Ладно, не бери в голову. Всё увидишь, только не впечатляйся сильно. Это всего лишь штрих... к лику, так сказать, времени... прошедшему. Нет, скорее, настоящему. А вообще, — сам разберёшься. Ты будущий историк, пригодится.

— Но...

— Не спрашивай больше ни о чём! — Богданов неожиданно возвысил голос. — Приходи, и всё сам увидишь. — Демонически расхохотался, схватил портфель и умчался в направлении кабинета декана, а я остался озадаченно думать, что бы это значило.

Третьего вечером, накануне, я зашёл к Александру Васильевичу Смольскому, он был помощником Литвинова, примерно, до середины войны, тогда же и сел на восемь лет. До того был членом советской делегации при Лиге наций и долго жил в Швейцарии. Жена его умерла, пока он сидел, теперь был совершенно одинок. К старости, видимо, стал болтлив и часто приглашал меня, желторотого студента, поговорить, жаловался, что его мемуары никогда не издадут, а значит, и нечего писать. Вот и выговаривался, чему я был несказанно рад.

Смольский жил на втором этаже в двух комнатах. Дома у него всегда был кавардак, но это не касалось книг и бумаг: тут порядок царил образцовый — книги стояли на полках выстроенными по размеру, на письменном столе лежало несколько стопок тетрадей в одинаковых коричневых переплётках, наверное, дневники, отдельно высились серые бумажные папки с тесёмками. На стене висел портрет жены, красивой, гладко причёсанной женщины, она была снята в контражуре, лицо слегка затемнено, позади — яркое пятно света. На столе — небольшой бронзовый бюстик Сталина. Я удивился, когда в первый раз попал сюда, — Смольский люто ненавидел вождя и не скрывал этого.

— Проходите, Анатолий. — Он простёр руку, приглашая войти. — Присаживайтесь. Чаю?

— Спасибо, Александр Васильевич, — отказался я. — Только из дома.

Присел. Теперь главным было задать какой-нибудь заковыристый вопрос, чтобы Смольский завёлся. Но я мудрствовать не стал и спросил, в продолжение прошлого разговора, как можно соотнести то, что Сталин был совершенно не образован, не отёсан даже, с тем, что выпускник Гарварда Рузвельт относился к нему с большим уважением, что, как известно, следует из воспоминаний его сына Элиота. И как вообще пристегнуть к победе в войне всё то, что Хрущёв вывалил на двадцатом съезде.

Смольский потёр висок и задумался. Потом заговорил, подбирая слова:

— Видите ли, Толя, тут дело не в Хрущёве и не в Рузвельте. Соотносить и пристёгивать ничего не надо. Репрессии и победа — две стороны одной и той же медали. Они тесно связаны и, возможно даже, представляют собой одно целое. А вот как именно связаны — предстоит решить вам, молодым, мы уже сданы в утиль. Дело, собственно, в том, что Сталин — часть коллективного бессознательного русского народа, это понятие из философской концепции Карла Юнга, вы вряд ли об этом слышали. То есть, говоря проще, некий общий знаменатель для огромного количества людей, то, что не отображается в сознании и неуправляемо. Распутин, Ленин, Сталин — бесы, живущие там, они в периоды исторических крушений вылезают наружу, становятся реальностью. Много и мелких бесенят, в итоге выходит, что вся русская история есть жестокость, мрак, самоуничтожение, грязь, — ну вот такое подсознание тёмное, что поделать. Я больше скажу вам, что и дальше такие изуверские фигуры будут вылезать оттуда и приносить

народу неисчислимые бедствия, и в итоге выходит, что народ пожирает сам себя. Говорить такие вещи не принято, противоречит всяческим условностям, вот все и боятся. А я вам сказал. Наверное, вы не согласны?

Я был не то чтобы не согласен, просто по молодости ждал от Смольского не пустых рассуждений, а каких-то интересных фактов, оценок, — того, что можно записать. Однако время показало, что умница Смольский знал, что говорил, просто я не дорос.

Четвёртого марта я проснулся рано, мать за ширмой шуршала одеждой, собиралась на работу. Ушла, я попытался опять заснуть, но не получалось — разные мысли лезли в голову. Я вдруг вспомнил, что завтра день смерти Сталина. Почему-то стало немного страшно, я подумал о том, что, может, к Богданову идти не стоит, но сразу одёрнул себя — что за чушь! Надо было подготовиться к парам, чем я и занимался, стараясь не думать о том, что предстоит вечером. Чего испугался, не знаю, и в одиннадцать уже постучался к Витьке.

Он открыл не сразу, послышался звук смывного бачка. Встретил меня с полотенцем в руках.

— Заходи, — сказал неожиданно весело. — Давай ужинать, я котлеты готовые на Дорогомиловке в «Кулинарии» купил, час простоял, свежие. — Я заметил на столе початую бутылку портвейна. — Молодец, что пораньше пришёл.

В квартире у Витьки был полнейший бедлам. Его дед, один из немногих старых большевиков, тщательно выкошенных Сталиным во избежание появления на свет тёмных историй из гопнической молодости вождя, умер не так давно и оставил большой архив. Я подозревал, что в нём много интересного, но попросить Витьку залезть туда было как-то неудобно. Витька будто услышал мои мысли и, доставая с полки, занавешенной игривым ситчиком, сковородку, повернулся ко мне и сказал:

— А я вот никак с дедушкиным архивом не разберусь. Из ЦГИА¹ названивают, замучили. Вот каникулы наступят, отлынишь от стройотряда, можем вместе там покопаться.

Я чуть не подпрыгнул от радости, но вида не показал. Тем более что Витька часто забывал то, о чём говорил.

Он быстро и умело поджарил котлеты и пригласил меня к столу. Мы, как будто всё идёт как обычно, посплетничали о преподавателях, от портвейна я отказался, а Витька налил себе полстакана.

— Ты бы выпил, — посоветовал он, сделав большой глоток и сморщившись. — Гадость, но нервную систему настраивает, это тебе сегодня пригодится, а я этот цирк уже видел. В прошлом году напился в хлам.

Я глотнул противной сладкой жидкости, голова чуть закружилась, и желание разозлиться на Витьку за то, что темнит, пропало.

¹ Центральный государственный исторический архив.

— Ну, давай показывай уже, — расслабленно сказал я. — Или показывать и нечего?

— Пятнадцать минут ещё, — Витька не обиделся. — В полночь... — он вдруг хихикнул. — Хотя... пойдём уже. Давай шкаф отодвинем, ты молодой, вот и старайся.

Я минут пять пытался со шкафом, а Витька стоял рядом и как-то нехорошо ухмылялся, наверное, потому, что выпил прилично. Наконец, я справился.

— Помог бы, что ли. — Его ухмылка показалась мне уж очень противной.

Но не в моём положении было грубить, не пригласил же он меня, чтобы подвигать мебель, в самом деле.

— Иди сюда. — Витька зашёл между шкафом и стеной и махнул рукой. За шкафом было пыльно, валялся какой-то мусор, я три раза подряд сладко чихнул.

— Будь здоров. — У Витьки в руке откуда-то появился фонарик. — Смотри, тут дверь, обоями в цвет заклеена. Я обнаружил случайно, когда ремонт делал, дед в Кунцевской больнице лежал. Вот тут замок, серьёзный, я одного умельца призвал, он мне ключ еле подобрал. Ему пофиг было, куда дверь ведёт, под мухой сильно работал, потом я его вдогонку до поросычьего визга «Агдамом» накачал, чтобы не помнил наутро ничего. У меня переночевал.

Он пошуровал ключом в замочной скважине, засунул между стеной и дверкой стамеску, которая как по волшебству появилась в его руке, и тяжёлая металлическая дверь со скрипом отворилась. Скрип почему-то показался мне неестественно громким и резанул по ушам.

— Вот, — он бросил стамеску в угол. — Заходи.

— Что это, Вить? — Я оробел, по телу пробежал озноб.

— Смотри, — Богданов был совершенно спокоен. Посветил фонарём. — Тут такой вот ход, справа стена в полтора кирпича, слева в два. Пролезай.

Я протиснулся за Витькой, идти можно было только боком. Мы медленно двинулись по коридору. В нём было прохладно, почти холодно и сыро, бетонный пол был чистым, как будто выметенным.

— Глянь сюда, — негромко сказал Богданов. — Видишь, моя квартира в торце дома, на каждом этаже такие есть. Из неё и ход. Слева квартиры, справа через стенку коридор. Смотри.

Он направил луч фонаря на стенку, и я увидел нанесённые белой краской крупные метки с номерами.

— Вот, — продолжал Витька, — где метка — стена истончена, там глазок, изнутри он замаскирован в счётчиках, туда не лазают, опломбировано. И тут же отверстия, видишь, сеткой затянуты, чтобы слышно было, о чём беседуют.

— Послушай, — я от волнения слегка охрип, а может, простудиться успел, было холодно. — Это что же, ниши, как в Доме на набережной? Но ведь это легенда! Как такое может быть? И ведь уже при Хрущёве капитальный ремонт делали.

— То-то что ремонт делали, — Витька говорил, запинаясь, я подумал, что тоже волнуется. — Да только вот глазки новые установили, широкоугольные, в тридцатые таких не было, я вопрос изучил. Сколько времени?

Евгений Чигрин

Пленники под переплётом

Старинная музыка

Крумгорн, свирель, барочная гитара,
Добавим лютню: слушай до утра.
Стал безразличен ты к щедротам бара,
К тому, как начинается игра
Любовная. Всё стало проще, чище,
Всё ближе к смерти жёлтая листва.
Не стоит ехать — хоть зовут! — в Мытищи...
В Мураново спеши, там ждут слова
От Тютчева-волшебника. Туда ты,
Как только будет время, наостришь.
Там охраняют скромный пруд наяды,
Там музы славят золотую жизнь.
Крумгорн звучит: камланье духовое,
На ручку он от зонтика похож.
Не слышали? Вот племя молодое!
Вас не всегда как следует поймёшь.
Он сохранился от Средневековья:
Жужжащий и гнусавый инструмент.
Гнусавь, жужжи... Знай, тютчевское слово
Такое б оценило. Разве нет?
Смеётся, плачет муза Возрожденья,
И молодость, как *завтрак на траве*...
Накрыла осень. Входит день рожденья.
Окрепла старость, вельтшмерц¹ в голове...

Чигрин Евгений Михайлович — поэт, эссеист. Родился в 1961 году в Украине. Долгие годы жил на Дальнем Востоке. Публиковался во многих литературных журналах, в европейских и российских антологиях. Автор 14 книг стихотворений, в том числе избранного «Болотный огонь» (М., 2024). Лауреат многих премий. Живёт в Москве и подмосковном Красногорске.

¹ Вельтшмерц (нем.) — депрессия, хандра.

* * *

А в пятницу Радость на тонких ногах
Примчалась, присела на кухне:
Пьёт кофе, сбивается в нежных словах
В прекрасно-небрежном костюме.
Мне тоже приятно Фортуне в глаза
Смотреть и угадывать мазу...
Мы слушаем, что говорят небеса,
Как будто к незримому лазу

Мы с ней подключились: всего лишь компакт,
В котором живёт Букстехуде,
Господствует в нём фантастический арт,
Как та красота, что в сосуде,
Ну та, о которой сказал нам Н.З.,
О. М. открывался в участие.
Ты видишь, спешит к молодой стрекозе
Напарник по имени Счастье.

Книжные полки

На полке байкальский фетиш
С египетским идиолом вместе,
Охотского моря голыш
С окраины родины. Жести
Хватало в метельных краях,
Да я не об этом стараюсь
Сказать в незатёртых словах,
В которых и я обретаюсь,
Которые в книжных шкафах,
Как узники замков и тюрем,
Настояны на облаках,
Объяты текущим июлем.
Немало на полках любви
И бренности под переплётом,
Меня поглотили шкафы:
Я начал читать желторотым.
И кто тут кого зачитал
До дыр? — Гулливер не подскажет,
И путь в африканский Харар
Теперь Гумилёв не покажет...
На лапах гусиных стоял
Архангел и — плакал, когда я
Своих «Водяных...» сочинял
В трёх метрах от чёрного рая.
Исчезну, как мальчик, что смог
Прочесть абрикосы и слёзы,

Поймав сумасшедший восторг,
Взирая на «смятые розы».
Скончаюсь — и книги снесут
На свалку: ненужная ветхость,
Смешных чудаков атрибут,
Сплошная мура и нелепость.
И будет та свалка мотать
Во тьме головой Марка Твена,
Дюма и Стендаля листать,
Я верно подметил, Камена?

Был месяц май

И цветок в саду у марсианки
Вырос, полая, как костёр...

Николай Заболоцкий

...Окно открыл: счастливые деревья
Смотрели на меня в зелёной мгле,
Была в них суть весёлого доверья
И мистика зарытого в земле.
В них жизнь жила особенною хваткой,
Вышёптывали листья о своём.
В них было то, что пишется украдкой
Догадкой редкой, тлеющим огнём.
Был месяц май, и вновь была Победа,
Куртины в белый обращались цвет,
К созвездию Пегаса — Андромеда,
Ты видишь, прилегала, как конверт
К почтовой марке в африканском стиле,
Счастливые деревья на меня,
Сдавалось, наступали в тёмном мире,
Дриадами прекрасными плена.
(Из капель крови старика Урана,
Про дев не помню больше ничего...)
Продлись ещё чуть-чуть, фата-моргана,
Чтоб цвет зелёный втиснуть в волшебство.
Фисташковый и тёмный — разве плохо?
С иллюзией я доживать готов,
В пионе древовидном столько Бога,
Что мне не хватит кисточки и слов.
Был месяц май. Щеглы сумели ноты,
Как в Зальцбурге, в театрах старых, взять,
И эти звуки, как Творца щедроты,
Я записал в зелёную тетрадь.
...Плыл месяц май. И жить ещё хотелось...
В саду у марсианки полыхал
Цветок, равно костёр, вдыхая смелость,
И красный Марс пылал, как драгметалл.

Дарья Андреева

Триптих

Галошки

Литая, калёная строчка, выдавленная задом наперёд, ударилась о деревянный ящик. Но звука не было, стука не было — в типографском грохоте вывернутые наизнанку слова молчали.

Галошки забыли, а как на даче без галошек?

— Нина! — На подставку над клавиатурой просунулся листок. Заглавие гласило: «Сахарная свёкла — опора колхоза». — В завтрашний номер...

В газете слова на одно лицо, хотя и там, бывает, услышишь знакомую интонацию, вдруг выпрыгнувшую из безликих засечек. А вот машинописные тексты разнятся: у редакционного «Ленинграда» с широкой кареткой, например, подпрыгивает «В» верхнего регистра, а личный «Континенталь» Лицкого из политновостей режет хвостики у «д». Но эту машинку Нина не знала — да и немудрено, сельскохозяйственный институт, неведомая учёная фамилия.

Как же забыли, галошки-то?..

Саюнше... Палец ударил мимо, Нина посмотрела на слово «сахарной» и не узнала его. Раздражённо добила строку абракадаброй «выргвыбшкшырг» и начала снова: «Сахарная свёкла...»

— Нина!

Листки срочные, сочные, набухшие чернильными сгустками — казалось, на вырванной из блокнота страничке ещё лежало тепло корреспондентской ладони. «Матч ЗиФ — «Спартак»: победа над чемпионом». Буквы сутулились, топорщились, словно бы опускали глаза и улыбались смущённо.

Нина подскочила.

— Я сейчас!

Андреева Дарья Алексеевна — филолог, прозаик, переводчик. Родилась в Москве в 1991 году, окончила филологический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова в 2013 году. Автор романа «Личная война Павла» (Эксмо, 2013) и более двадцати переводов, опубликованных в издательствах «Синдбад», «КомпасГид», «АСТ» и др., а также в журнале «Иностранная литература». Лауреат премии им. Соломона Апта (2016), премии «Инолит» (2020), премии журнала «Дружба народов». Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2024, № 4.

В соседнем цеху наборщики раскладывали на столах металлические строки, стягивали их в рамы, чтобы слова, собранные из жизни в стройные истории, не разбежались обратно. В конце коридора — окно частыми стёклышками, за ним лестница на второй этаж и проходная, а возле проходной, под красным вымпелом, доска почёта. Среди лиц и её, Нинино, — как-никак первое место на курсах профмастерства в прошлом месяце. Под доской, размахивая криво оторванными гранками, вещал Лицкий из политновостей, а напротив него маячила угловатая, с опущенными плечами, фигура в летнем плаще.

Он поднял голову, она из-за стёклышек махнула ему рукой. Он заулыбался, махнул в ответ, в сторону проходной, и она закивала. Она смотрела на него с двух сторон — из-за оконных стёклышек и из-под стекла доски почёта, и в этом перекрестье её взглядов был какой-то сладкий секрет.

И снова стрекот клавиш: «...Весенний сев прошёл на высшем агротехническом уровне». В цеху жарко, но это жара обманная — надышали кипучие линотипы, — а на улице никакой жары и в помине. Небо было нарезано на ломтики высоким типографским окном: одни ломтики — голубые, другие — мохнатые, серые. Краем глаза Нина посматривала на них, пыталась украдкой прикинуть, каких больше. Вроде не должно быть дождя, но вдруг? У Митечки и так катар на катаре, ларингит на ларингите...

Долгоносики, кагаты, штрафные, угловые — а перед глазами стояли компрессы и градусники, и как он там будет на этой садовой даче, если заболит? Но потом из окна упало и поцеловало в щёку густое вольное солнце, и этот поцелуй градусники и компрессы изгнал. И сделался просто июньский вечер, и когда она шла по коридору, уже в плаще, в печатном цеху на больших белых листах всю раскатывался завтрашний день.

Некраскин сидел неподалёку от проходной. Когда он встал ей навстречу, оказалось, что сидел он, как на пеньке, на бидоне.

— Что это у вас? — изумилась она.

— Вот, керосину хотел купить...

Он неловко заулыбался, взял Нину под руку, и бидон в другой руке нелепо звякнул. Маслянистый вечерний свет вдруг показался Нине прогорклым. Не нашёл другого времени? Неужели она не лучше бидона, неужели хорошо ему и ладно идти вот так, уравновесившись ими?

— Не сердитесь, Нина, — пробормотал он почти умоляюще, и она как-то разом простила.

Грохотали трамваи, текли толпы, защита, полузащита, он болтал про матч и как ЗиФ забил в самом конце второго тайма. Небо было чистое, сиреневатое, только там, где совсем горизонт, серела какая-то хмарь, и, в общем-то, сегодня дождя наверняка не будет, но галошки надо отвезти, обязательно надо завтра, пока выходная.

В керосинной лавке пахло едко, и Некраскин, перекосившись от тяжёлой ноши, стал ещё сутулее. И глупо, неудобно уже было с плещущимся бидоном куда-то идти, да и завтра надо не заспать.

— Я уж домой, — сказала Нина. — Завтра сына надо навестить...

До самого дома он не пошёл, вечером двор полон народу, и они ещё долго ходили по садику за углом. В садике кроме них были урчащие голуби и мохнатые тополя, и голуби тоже ходили туда-сюда, не то передразнивая, не то подражая. А потом Нина сидела на бидоне, и бидон был даже кстати — устали ноги.

— А вам керосину не надо? — спросил Некраскин, когда они опять принялись прощаться.

— Да нет...

Без Митечки Нина почти не готовила, много ли ей нужно. Вот и сейчас — зашла на кухню только чаю вскипятить, а там парили, дымили, соседка махала над примусом полотенцем, бранилась:

— Сказала своей картошку сварить — она кастрюлю поставила, а сама, разбойница, во двор!

Дожидаясь, пока взбурлит чайник, Нина невзначай подшагнула к окну. Из окна видно было ущелье переулка, жались вдоль стен кривые тротуарчики и вдалеке, в зареве, ещё маячила некраскинская спина, перекошенная бидоном.

— Что на газете? — поинтересовалась соседка.

— Кагатирование сахарной свёклы имеет большой положительный эффект, — ответила Нина. — ЗиФ — «Спартак»: два-ноль.

И тихонечко улыбнулась.

— Повезло нам, все новости накануне узнаём, — посмеялась другая соседка, раскатывавшая тесто. — Газету покупать не надо!

Нинины окна выходили во двор, одну створку она с утра оставила открытой, и ветер выдул занавеску, зацепил за водосточную трубу. Зарева тут не было, был только отсвет на стене дома напротив, розовый и бледный. И Нина, отцепляя занавеску от жестяного стана, живо вообразила розовые сосны на садовой даче и тучки над рекой. Под зеркалом лежал хворост и грильяж — гостинцы для Митечки, — и она поскорее слезила в шкаф, положила рядом галошки, чёрные с красным нутром, чтобы не дай бог не забыть. С Митечкиной кровати смотрела обезьянка с круглыми глазами — она на дачу не поехала, в первый раз не поехала, и Нина погладила её, зашитенькую, за ушами.

Обезьянка всю ночь стерегла её сон, и когда Нина проснулась, она сразу поняла — что-то хорошо. Хорошо было, что водосточную трубу она ночью не слышала, и ещё — во сне кроме розовых сосен мелькал Некраскин, и он что-то нелепое делал — кажется, гладил рубашку.

Нина прыснула с закрытыми глазами.

На скорую руку позавтракав, она собрала грильяж и хворост, сунула в сумку галошки, выскочила в утренний двор и обомлела: лужи! Чёрный асфальт, набухшая земля! А за городом, поди, и того сырее, промочит Митечка ноги, как пить дать!

Она стремглав бросилась на трамвай, будто ещё могла успеть, и за углом чуть не угодила под фонтан: там стоял дворник со шлангом. Охнув и отпрянув, она с облегчением засмеялась:

— Утро доброе! А я уж подумала, дождь был!

В трамвае Нина не удержалась, погрызла немножко грильяжу. На зубах стало вязко. Сумка с галошками стояла на коленях, и она смотрела на едущий мимо город, на порхание тополиных ключьев и думала, что скоро уже надо брать следующий размер и ещё что интересно, как сыграют сегодня «Динамо» со «Стартом», хотя футболом никогда не интересовалась. А вот Митечка футбол любил, у него и мяч под кроватью лежал, малость лохматый от ниток, — и это почему-то было хорошо, даже очень.

Трамвай остановился у вокзала, Нина подхватила сумку и устремилась в кассу. До поезда ещё было время, и она приникла к киоску, закопалась в вертушках и хлопушках. И когда прокашлялся и заговорил репродуктор, она среди вертушек и хлопушек не сразу разобрала, что это не вокзальное объявление.

— Да не может быть, — сказал кто-то рядом. — Как так?

Или это внутри у Нины сказалось. Потому что кругом, под струящимся из репродуктора голосом, была лишь тишина и поднятые головы. Даже вертушка стояла неподвижно, растопырив пёстрые лепестки.

Когда голос из репродуктора иссяк, Нина бросилась с платформы наружу. Люди непонятно шарахались, словно потеряв дорогу. На ступеньках вокзала ветер рванул вертушку, пёстрые лепестки с треском крутанулись, превратившись в калейдоскоп. В подмышку упёрлось что-то большое и упругое, она пихнула галошки обратно в сумку, но те не хотели лежать смирно, опять неудобно вылезли, а Нина думала только, что надо на работу, скорее надо на работу...

Трамваи на привокзальной площади не метались, они ехали крепко, раз и навсегда приговорённые к рельсам, и один из них зазвенел на неё, когда она сунулась было поперёк. Нина испугалась, охолонулась.

Да нет, какая работа? Надо на дачу, забрать Митечку, забрать и привезти. Поезд через три минуты...

Нина кинулась обратно на платформу, приминая под мышкой непослушные галошки. Там уже громыхал, подъезжая, паровоз. И такой же чёрной стучащей громадой надвинулась следующая мысль: нет, как же привезти, если сад на даче, а завтра рабочий день — где же она его оставит?

Её толкнули, и неудобно растопырившаяся галошка выскочила из-под мышки, поскакала по платформе. Нина погналась за ней, испугалась, что затопчут, спихнут на пути, а следующий размер всё же ещё рано, на лето эти надо доносить. Паровоз свистнул, на неё или сам по себе, но Нина всё равно нырнула под людские ноги, выхватила галошку из-под таранящей тележки, спасла, бросила сердито:

— Смотрите, куда едете!

Небо слилось по цвету с паром, тяжёлые клубы легли на навес платформы. Прижимая галошку к груди, Нина сквозь суету шагнула в открытые двери вагона.

Елена Албул

СЧАСТЛИВЫЙ характер

Рассказ

У Клары был лёгкий характер, и со стороны казалось, что жизнь её напоминает свежеекатанное шоссе — ни ямки, ни кочки; а если и попадался какой ухаб, то Клара так виртуозно его обходила и, главное, так зажигательно потом об этом рассказывала, что слушатели — вернее, слушательницы, потому что мужчины в библиотеках не водятся, разве что охранник, — только смеялись и махали недоверчиво руками: тебе, мол, Кларка, сценарии для сериалов писать, а не прозябать среди пыльных книжек. Клара тоже смеялась, уверяла, что всё рассказанное — чистая правда и она вовсе не прозябает. И это тоже было чистой правдой.

Завидовать Кларе было невозможно, потому что фактическая сторона её безмятежного существования выглядела не особенно впечатляюще: всю жизнь в библиотеке заштатного Дома детского творчества, ни денег, ни должности; внешность самая среднестатистическая, ни мужа, ни любовника (об этом пункте, правда, достоверных сведений не было — о личной жизни Кларе не особо распространялась, но чтобы в женском коллективе наличие любовника не заметить — совершенно нелепо). Ну и — до кучи — ни детей у неё не было, ни теперь уже и родителей.

Для себя бы хоть родила, говорила ей Люська, ещё одна библиотечная старожилка, но не с таким, конечно, как у Клары, стажем. Говорила, понятно, в то время, когда эта тема могла ещё быть актуальной. Клара смеялась: это чтоб было кому стакан воды подать? И отшучивалась известным анекдотом: «пить-то что-то и не хочется...».

Заведующие же библиотекой, а на Кларином веку их сменилось уже несколько, наоборот, только и молились, чтобы у Клары не появилось никаких отвлекающих факторов вроде детей и мужей, потому что на Кларе, как на китах,

Албул Елена Владимировна — поэт, прозаик, музыкант. Родилась и живёт в Москве. Окончила ГМУ им.Гнесиных по специальности «скрипка». Печаталась в журналах «Октябрь», «Москва» и др. Автор книг стихов и прозы для детей. Создатель и ведущая литературно-художественного клуба «Лодка» и детского клуба «Карусель» в Торговом доме «Библио-Глобус» (Москва). Ведёт авторскую программу «Стихи для детей с Еленой Албул» (ютуб).

Предыдущая публикация в «ДН» — 2025, № 2.

слонах и буйволах — или кто там ещё в мифологии за стабильность отвечает, — держалось в библиотеке, да и в самом Доме творчества, практически всё. Дети её обожали — она и сама была похожа на подростка, щупленькая, быстрая, — память превосходила любые компьютерные возможности, а способность на ходу придумать какой-нибудь тематический праздник, о необходимости которого сообщили сегодня, а провести требовалось тоже сегодня, была просто уникальной. Ну и плюс страстная любовь к литературе.

Когда из Клары она стала Klarой Семёновной, многие удивились, почему при таких талантах её саму не назначают заведующей. Оказалось, предлагали, и не раз. Не моё, отмахивалась Клара, бумажные хлопоты, неинтересно.

Действительно, по-настоящему интересовали её только книги, особенно из приключенческой классики, с благородным героем и с полным поправлением Зла в финале. Она горько сетовала на современную писательскую моду показывать жизнь прямо как она есть — как она есть в представлении авторов, разумеется; и выходила она у них такой, что хотелось от тоски удавиться (герои этих авторов так, бывало, и делали). Клара была не против реализма, но требовала равновесия, и когда в запрашиваемой книжке обнаруживался очередной ущербный страдалец, не стеснялась советовать родителям надёжного «Тимура и его команду» или ответственного «Пятнадцатилетнего капитана». Она была романтична и верила в алые паруса. В своё время родители хотели назвать её Верой, но передумали и дали имя в честь одной из бабушек, однако это неслучившееся имя — Вера — проросло в ней уверенностью, что всё всегда идёт как надо и кончится правильно, то есть — хорошо. Особенно если постараться. И она старалась. С лица её не сходила улыбка. В бога Клара не верила, но в том, что он правду видит и шельму метит, не сомневалась.

— Ты идеалистка, — говорила Люська, — витаешь в облаках, а надо реально смотреть на вещи. Вот выйдешь на пенсию, и что — так и будешь одна куковать?

Это она всё не могла успокоиться насчёт Клариногo одиночества и обосновывала:

— Потому что какой-никакой, а мужчина в доме всё-таки нужен.

— Ерунда это всё, предрассудки, — беспечно отмахивалась Клара и не напоминала Люське об этих разговорах, когда та разводилась с первым мужем, а потом и со вторым.

К тому же ни на какую пенсию Клара не собиралась, а если что, идеи на этот счёт у неё уже были. Она как-то попробовала сама написать нечто приключенческое, но убедилась с грустью, что одной фантазии для этого мало. Однако мысль эту тему как-нибудь развить, когда будет время, её не оставляла.

На пенсию ушла в конце концов именно Люська, хотя тоже очень не сразу, а Клара всё работала и работала, год за годом, с прежним энтузиазмом, и уже получила и заслуженного работника культуры, и ещё какие-то премии и знаки отличия, как вдруг бронепробойная конструкция её жизни покачнулась и рухнула — как покачнулась и рухнула сама Клара на гололёде у своего подъезда.

— Ну, ноги у вас пока, считай, что нет. Это надолго, в вашем-то возрасте, — честно предупредил врач после операции. — Кто-нибудь дома есть, чтоб помогали?

Кого-нибудь дома у Клары не было, а вот что-нибудь, что помогало, имелось. Этим чем-нибудь была картина, которую подарил один серьёзный художник, впечатлённый Клариним подвижничеством. И ведь как угадал! На небольшом полотне белел парус одинокий, но не в тумане моря голубом, а в непростых метеоусловиях, так что одна предательская волна уже всю грозилась его опрокинуть. Однако видно было, что кораблик не сдаётся — и не сдаётся, это точно. Художник вряд ли догадывался, что подарком своим превратил почти каждое Кларино утро в праздник. Она повесила картину в спальне, напротив кровати. Комната эта была с восточной стороны, и первые рассветные лучи падали прямо в нарисованное море, и оно становилось бирюзовым. Оживали фактурные мазки, море начинало дышать, закипало, и накрывал его солнечный свет, и подбирался к паруснику, который ещё не знал, что его ждёт сегодня, — потому что солнце-то в средней полосе бывает не каждый день, и если погода не радовала, никакого превращения не случалось, и кораблику приходилось уныло переваливаться через грязно-серые водяные горы. Но уж если было солнечно!.. Клара прямо в пижаме мчалась в кухню, заваривала чай, собирала на расписной поднос орешки, шоколад, курагу в милых узбекских плосечках, ставила чайник и чашку тонкого фарфора, тащила всю эту красоту в спальню и снова устраивалась в постели. Это был театр одного актёра и одного зрителя. Актёром был парусник, зрителем — она. Спектакль никогда не повторялся, потому что осветители то меняли углы, то ставили какие-то фильтры, то вообще выключали свет, и паруснику приходилось напрягать все силы, чтобы выбраться, но волна — та, подлая, — ни разу его не захлестнула. Через полчаса начинался день, и Клара, как парусник, была готова к любым его трудностям.

Только бы оказаться дома, а там справлюсь, сказала себе перешедшая в статус пенсионерки-инвалида Клара, когда её в кресле-каталке везли к такси. Может, в смысле стакана воды Люська и была права, но унывать Клара не собиралась. Никакая волна её не захлестнёт. Ноги, считай, нет? Ха! Она тут же вообразила себя одноногим пиратом Джоном Сильвером из «Острова сокровищ», с той разницей, что Сильвер на своей деревяшке рассчитывать ни на что не мог, а ей сказали — ноги нет пока. Пока! Она не сомневалась, что так или иначе всё развиднеется. И, конечно, не ошиблась.

Во-первых, социальные службы оказались не абстрактным словосочетанием, а живыми людьми, действительно готовыми помогать. Во-вторых, из любого магазина всё можно было доставить на дом. А в-третьих — в-главных! — возникли на Кларином горизонте дальние уральские родственники, которые то ли меняли свою квартиру на московскую, то ли что-то здесь, в Москве, строили, и им нужно было помочь перекантоваться, чтоб сынишка у них пошёл в московскую школу. И у Клары одним махом образовался дома не просто кто-то, а целая семья: тридцатилетняя Кристина, такая современная, энергичная, способная все проблемы разрешить в три телефонных звонка, Олег, муж её,

постарше, хмуроватый, зато непьющий и даже некурящий, и шестилетний Витюша, который своей щербатой улыбкой Кларино сердце просто покорило.

Устроились замечательно: Клара с парусником в спальне, гости в большой комнате, которая и правда была большой — дом хоть и старый, но кирпичный, хорошей планировки, и даже паркет на полу, а это редкость.

Стоял май, жаркий, нарядный, счастливый. Клара смотрела на залитый светом парусник и думала, что ещё день-другой, и она откажется от унижения инвалидной коляской и будет передвигаться на ходунках. Утренний настенный спектакль доставлял ей теперь такое же удовольствие, как и раньше, потому что Кристина любезно согласилась приносить ей поднос с чаем — что вы, тётя Клара, махала она руками, какой это труд!

Да. Ходунки! Это возвышает, причём в самом прямом смысле, воодушевлялась Клара. Это звучит гордо! Это всего шаг до костылей! Она поставила себе цель за лето встать на ноги, и присутствие Витюши добавляло ей сил. Мальчик был просто прелесть, не читающий, конечно, как все они сейчас, но с живыми глазами, когда в экран не смотрит. Однако это дело было поправимое, потому что ещё дошкольник, тут лишь бы родители не мешали, а они не мешали. Не против были, и когда она предложила Витюшу в свою комнату переселиться. Мол, и им свободнее — молодые всё-таки... Клара в этом месте выразительно замолчала, Кристина запунцовела, а Олег отвёл глаза. А у Клары уже созрел тайный план за лето приохотить парня к книжкам и научить читать, чтобы к школе сюрпризом предъявить родителям результат, — как кролика из шляпы вынуть.

С ходунками жизнь почти совсем наладилась. Неудобство оставалось одно — ванная. Точнее, сама ванна.

Преодоление высокого борта ванны было мучительным, а пользоваться чьей-то помощью Клара не хотела. В ней проснулась девичья стыдливость. Она называла это мероприятие «переходом Суворова через Альпы» и, малодушно потакая себе, сократила гигиенические процедуры до минимума. И когда Кристина неожиданно обратилась к ней с предложением купить душевую кабинку, Клара, как ребёнок, обрадовалась и даже удивилась — как это ей самой в голову не пришло!

— Я же чувствую, как вы мучаетесь. А там модели разные есть, с учётом потребностей. Даже и такие, что со встроенным сиденьем, — зашла и сразу села, и с одной стороны полочка, а с другой — крючок для душа. Ещё и перильца есть!

Клара тут же мысленно взялась за перильца и почувствовала их прохладную надёжность.

— И потом, если поменять ванну на кабинку, то места станет больше. Тут ведь не развернёшься!

Это было справедливо. Кристиночка-то стройная, но муж её Олег — мужчина заметный, с начальственной полнотой, ему, конечно, тесновато.

— И мы это сделаем за свой счёт, — твёрдо сказала Кристина, — вы не думайте ничего такого.

Кларе это было приятно. Деньги-то у неё, конечно, были; к тому же она настолько оказалась очарованной сияющей никелированной перспективой

вот этого «зашла и сразу села», что можно бы и разделить расходы, но, раз они берут их на себя, — хорошо. О ней, значит, думают. Не хотят быть нахлебниками. Своя кровь.

Она улыбнулась. Характер у неё был хоть и лёгкий, но не легкомысленный, а искушать деньгами без нужды никого никогда не надо. Пусть ремонтируют. Помочь, если что, она всегда успеет.

Начали выбирать кабинку, приглашали прорабов; те, в осознании собственной незаменимости, через губу говорили о проржавевших трубах, о кривых стенах, об отслаивающейся плитке. «Да тут только тронь — она и посыплется!» — говорил один такой маэстро, не подозревая, что практически цитирует портного Петровича из гоголевской «Шинели», и тыкал презрительно в стену. «А ты тотчас заплаточку», — предлагала Клара, входя в роль Акакия Акакиевича, но прораб был наследником тех отечественных традиций, в которых проще всё снести и новый мир построить, и отвечал соответственно — заплаточку, дескать, никак нельзя. Худой гардероб. Гнилая стена.

Выходило, что надо менять и кафель.

— А это пыль. И не просто так пыль, а строительная. Старый кафель сбить, стены выровнять, новые плитки пилить-подгонять — тут содом и гоморра будет, и не спрячешься, и не закроешься, как ни старайся. А этим дышать нельзя категорически. Мы что, мы молодые, но вы в таких условиях жить не должны! Вот так вот.

Клара одобрительно посмотрела на разгорячившуюся Кристиночку. Вздохнула удовлетворённо. Повезло.

Стали думать. Некоторые снимают на лето дачу; проверили — или по деньгам неподъёмно, или такая тмутаракань и такие условия, что лучше пылью дышать. Клара говорила — да ладно, буду представлять, что я в пустыне: живу, как бедуинка в шатре; джинны, верблюды, волшебная лампа Аладдина, из кухни в комнату будет ходить караван с чаем... Думала при этом, как будет читать Витюше из «Тысячи и одной ночи». Но Кристина хмурилась: «Мы найдём выход». Клара несколько не сомневалась. Конечно, найдут. Это разве трудность? Вот выбрать кафель из трёх каталогов, один краше другого, было трудностью. Кларе нравились белые плитки с жизнерадостными красными маками на длинных мохнатых стеблях. Кристина же считала их простоватыми, обращала Кларино внимание на бежевые с золотыми полосками. Клара чувствовала, что последнее слово должно быть за ней, но обижать Кристину не хотелось. Поэтому решение откладывали, и от плиточного калейдоскопа в голове у Клары ум уже заходил за разум.

А в это время выход из содома и гоморры нашёлся.

— Тоже не бесплатно, конечно, но вы об этом не думайте. Зато условия просто санаторные. Воздух!.. Руководство очень сердечное, повар прекрасный — все хвалят, я отзывы читала; там у них и медицинское наблюдение, и ещё...

Клара смотрела на экран. Здание выглядело симпатичным, хотя незатейливой своей архитектурой напоминало типовой детский сад. Но вокруг были сосны, сосны и ничего, кроме сосен, — целая корабельная роща, и среди этого соснового моря пансионат белел скалистым островом, молчаливым, загадочным.

— ...И ещё... — Кристина сделала победную паузу, — в каждой ванной комнате душевая кабинка!

Клара мысленно вошла и сразу села. Сняла душ с крючка, включила воду и закрыла глаза от счастья.

Ехали долго. Машина была старая, дорога ещё старше — это когда свернули с шоссе и направились мимо густо заросших дачами пригорков. Кристина снизила скорость. Поначалу она всё рассказывала, как им повезло и сколько обычно приходится ждать места в этом пансионате, но, наконец, замолчала, сосредоточилась на ухабах и поворотах, и Клара вздохнула с облегчением. Она предвкушала встречу с островом, и ей нужна была тишина. Да, она Робинзон Крузо! Корабль терпит крушение, волна выбрасывает её на необитаемый остров — отличный сюжет! Конечно, этот остров не может быть по-настоящему необитаемым, но — ладно, пусть в сценарии появятся туземцы, был же, в конце концов, у Робинзона Пятница. Но это потом, потом. Сначала, чтобы не погибнуть, ей придётся самой обустроить свою жизнь. Это будет восхитительное приключение длиной в целый месяц (прораб клялся, что за месяц он железно успеет всё сделать). Опасности, преодоление препятствий; и, разумеется, надо вести календарь. Календарь на необитаемых островах — дело первостепенной важности. Да и на обитаемых тоже.

Огорчало только, что с Витюшиным чтением к первому сентября теперь ничего не получится. Что-то, конечно, она с ним выучить успеет, но кролика из шляпы уже не достать. Ну, ничего. И вообще — что вдруг за страсть к дешёвым эффектам? Клара пристыженно покосилась на Кристину. Зато она придумает шикарную игру «Первоклашки на необитаемом острове», что-нибудь в этом роде. Для школьного праздника самое то.

Пансионат в реальности оказался попроще, чем на картинке, но это было даже лучше — кто сказал, что потерпевшие кораблекрушение сразу оказываются в условиях пятизвёздочного отеля? Из бытовых удобств Клару больше всего интересовала ванная, так обещанная душевая кабинка там была, а это главное. Тоже не такая, как в каталогах, которые Клара листала перед отъездом, но с сиденьем. Клара оценила его в первый же вечер и сразу окончательно одобрила и затеянный ремонт, и даже кафель с золотыми полосками, если Кристина выберет всё-таки его.

Сборы, дорога, необходимые формальности утомили больше, чем она ожидала, и подробное знакомство с островом Клара отложила на завтра. После ужина (действительно недурного, не обманули отзывы) и чудесных минут под душем она легла и моментально заснула. Подушка была своя, утиного пуха. Играть в приключения, конечно, здорово, но в разумных пределах, а надёжное засыпание обеспечивает только своя подушка. В больнице-то Клара без неё настрадалась.

Проснувшись, она некоторое время глядела на противоположную стену. Стена была бледно-серая, шершавая и совершенно безжизненная. На ум Кларе пришли меловые скалы Дувра, часто встречающиеся в английской приключенческой классике. Она оценивающе посмотрела на спящую под скалой

Олег Рябов

Зачем стрелял

Рассказ из цикла «Жмуркин и Криворотов»

Миша Жмуркин вызвонил Илью Криворотова, товарища своего, тележурналиста и телекомментатора, по телефону:

— Старик, хочу пригласить тебя на охоту, на настоящую охоту. Ты же никогда на охоте не был? Я имею в виду — на настоящей. Как журналист ты обязан иметь хотя бы элементарное представление об этом чисто русском мероприятии.

— Я и на игрушечной охоте никогда не был.

— Ну так вот, приехал мой дядька, генерал из Москвы, дядя Коля. Его пригласили местные наши полковники на кабанчика. Он мне и сказал: «Михаил, хочешь, поедem с нами на охоту?» Я ему про тебя заикнулся, а он говорит «возьмём!» У них в Суроватихе какая-то воинская часть стоит, а в Старой Пустыни, это где-то совсем рядом, есть база отдыха закрытая, прямо на территории огромного охотничьего хозяйства, — вот завтра туда и поедem. Одевайся серьёзно: валенки, унты и что ещё у тебя тёплого есть, всё надевай, там в сугробе несколько часов стоять придётся — задубеешь! Не смотри, что минус десять, — в лесу ой как холодно окажется.

— Понял, я всегда тепло одеваюсь. А как же с ружьём? У меня и ружья-то нет.

— Я тебя не пострелять зову, а на охоту. Охота — это совсем другое дело.

— А у тебя есть ружьё?

— Есть, мне батька на окончание школы подарил. «Тулка» шестнадцатого калибра, безкурковка, маленькая, лёгкая, по индивидуальному заказу изготовленная, — не знаю для кого, я ещё не придумал, а с ходу врать не хочу. Но это так, больше для форсу, — я думаю, что стрелять нам с тобой не придётся. В общем, завтра в девять у нас во дворе.

Утром напротив дома Жмуркина стоял армейский уазик, а московский генерал со своим водителем-порученцем и Михаилом укладывали в багажник

Рябов Олег Алексеевич родился в 1948 году в Горьком. Окончил Политехнический институт по специальности «радиоинженер». Печатался в журналах «Дружба народов», «Знамя», «Нева» и др. Лауреат конкурсов «Ясная Поляна» и «Болдинская премия». Живёт в Нижнем Новгороде.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2023, № 9.

изрядное количество рюкзаков, пакетов и коробок. И генерал, и его водитель были в довольно замысловатых охотничьих комбинезонах-камуфляжах с многочисленными карманами и ремешками, на головах — зимние армейские шапки с козырьком, а обуты они были в настоящие походные берцы. В общем — спецназ! Миша Жмуркин резко выделялся своей экипировкой: светло-бежевый полушубок с широким стоячим воротником, почти новые полярные унты и кожаная бейсболка с утеплёнными ушами. Понятно, что Илья в своём пуховике с меховым капюшоном, динамовской вязаной шапочке, джинсах и кроссовках выглядел несколько неуместно. Хотя рюкзак у него был настоящий абалаковский, и забит он был основательно.

Когда Илья подошёл к машине со своим рюкзаком и поздоровался, генерал приостановил на миг сборы и обратился к друзьям:

— Запомните, дядя Коля и Николай Иванович — это для домашнего пользования, а при посторонних я для вас — «товарищ генерал»! Поняли?

— Конечно, — закивали друзья.

— А чего у тебя в рюкзаке? — обратился генерал уже к Илье.

— Валенки, водка и тёплые штаны, — ответил тот.

— Это одобряю! А ружьишко мы тебе там подберём, на месте, — у них аж арсенал, говорят, как у Геринга. Тогда ещё — для информации: два ваших местных подполковника, которые меня и пригласили на охоту, вместе с ещё каким-то главврачом, приятелем ихним, уже отправились к месту назначения с час назад. Пусть там подготовят народ и предупредят, а то свалимся мы как снег на голову, а они и обосрут. Бывает такое! Тогда уже не до охоты будет. Да, ещё — это мой порученец Володя, — генерал ткнул пальцем в сторону водителя, — к нему обращаться только «товарищ капитан». Если вопросов нет, то загружайтесь, и вперёд.

Воинская часть недалеко от станции Суроватиха, до которой катили почти два часа, была закрытой зоной, обнесённой трёхметровым забором с колючей проволокой. Обслуживала эта часть какие-то антенные поля, про которые лучше и не говорить, и не знать. На территории стояли казармы, административные корпуса, плац был выскоблен. На воротах часовой отдал честь и указал направление движения. За минуту, что ехали до административного корпуса, часовой по рации успел доложить о прибытии гостей, и у входа в корпус машину встречали с десятка офицеров без шинелей и в форме да трое ранее прибывших гостей в цивильном охотничьем облачении.

Генерал со всеми поздоровался за руку. Друзья-журналисты стояли поодаль, притопывая и разминая затёкшие в пути конечности.

— Товарищ генерал, — обратился один из подполковников, — сейчас коротенькое совещание и знакомство с обстановкой в красном уголке минут на тридцать, потом обед, а уж после выдвинемся на точку. Два наших местных егеря Юра Зелёнкин и дядя Вася с утра отправились туда на снегоходах «Ямаха», они генераторы уже запустили, там всё разогреют и баньку затопят. Разрешите начинать?

— Да, командуй, подполковник!

Совещание-знакомство генерал закруглил через пятнадцать минут. Обедали только свои, всемером: обошлись парой рюмок местной самогонки, закусили

солёными рыжиками, затем огненный борщ, гуляш с картошкой и, не прощаясь, двинули дальше. От оружия друзья отказались, хотя им предлагались на выбор и пятизарядный браунинг двенадцатого калибра, и пистолет Макарова, и даже автомат Калашникова, — сказали, что стрелять не будут.

До базы добирались час. Охотничий домик представлял собой большую рубленую избу с гостиной в тридцать квадратных метров, со столом посередине на пятнадцать человек и тремя спальнями — всего на десять лежанок. Егеря похозяйски разбирали привезённый инвентарь, продукты, одежду, слегка командовали. Суежилась тут с ними и небольшая молодая лайка по кличке Пакета, весёлая, ласковая, готовая всех зализать от радости.

Друзья, осмотрев помещения, вышли на воздух. В декабре дни короткие и мрачные, но если пробивается солнышко и морозит, то красота в лесу — необыкновенная. Воздух звенит от тишины, на лапах ёлок подушки снежные, и если нет ветра, то всё в необычном ожидании чуда. Ощущаешь бессилие при попытке описать это состояние. Вот такое же бессилие, похоже, ощутил Антон Павлович, когда писал свою «Степь»; мне при чтении в своё время просто чудилось, что он сожалеет, просто до слёз, что не может словами передать нам свой восторг. Так и здесь: невозможно передать словами состояние, которое тебя охватывает в замершем заснеженном лесу.

Побродили, потоптались, похрустели девственным стерильным лесным снегом.

— Да, старик, — обратился Жмуркин к товарищу, — чего я думаю, с ружьём стоять ты не захотел, чтобы не быть похожим на девушку с веслом на пляже. Но вот эту игрушку я тебе рекомендую держать при себе.

Жмуркин вытащил из кармана огромный красивый охотничий нож в ножнах и протянул Ильё.

— Зачем это?

— Приедем домой — отдашь. Положено в лесу быть с ножом. Этот ножик мне батька из Германии привёз. Не потеряй!

Через час все собрались за общим столом: обсуждались диспозиция, стратегия и тактика завтрашней операции. Кабанье стадо в пятнадцать голов уже четыре дня стояло в двух километрах от базы в заболоченной низине, кормились корешками, отдыхали: секачи, свиньи, молодняк. Подъезд возможен и на уазике, и на снегоходах метров на триста, потом — расстановка по номерам.

Осмотрели баню — было принято решение оставить её на потом. Второй обед или ранний ужин из гречневой каши с тушёнкой затянулся допоздна: водки и коньяку было выпито пять бутылок.

Стемнело рано, часа в четыре. Друзья оставили охотников за столом и вышли подышать. Подмораживало крепко — чувствовалось. Звёзды здоровенные, с кулак величиной, опустились низко-низко, зацепились за вершины ёлок, даже страшно немножко от их близости. Покурили, вернулись в избу. Укладывались спать — подъём был назначен на четыре утра.

Утро получилось хмурым, смурным — собирались молча, выпили по кружке растворимого кофе, и тут Жмуркин вдруг заявил:

— Товарищ генерал, мы с Ильёй, пожалуй, не поедем на эту рекогносцировку! После вчерашней дороги никаких сил нет. Мы лучше ещё пару часиков покемарим.

— Ну что же, охота — дело добровольное. Тогда за вами обед и порядок тут навести, а то сарай какой-то развели.

Уехали на двух снегоходах и уазике, в который Пакета успела запрыгнуть на заднее сиденье.

Друзья снова улеглись спать, но, проворочавшись с час, встали. Светало. Перекусив на этот раз поплотнее, бутербродами с чаем, решили погулять. Илья надел валенки и солидно утепился, а Жмуркин так вообще на полушубок пристегнул ещё патронташ, загнал два патрона в стволы и закинул своё ружьишко за плечо.

— Ты чего это? — удивился друг.

— А ты меня сфотографируешь. Не знаю, когда ещё в зимнем лесу побываю. Мужики сейчас вернутся — ты слышал, они это стадо кабанье видели четыре дня назад. Что, думаешь, эти дикие свиньи там стоят в низинке заболоченной, мёрзнут и нас ждут четыре дня? Им же жрать что-то надо. Ушли они уже давно куда-нибудь.

Светало, морозило, и тишина стояла звенящая.

— Вон видишь там, на дальних берёзках, на вершинках чёрные точки, три штуки, — это тетерева сидят. А знаешь, я ведь в этом месте уже однажды был. Помнится, лет десять или пятнадцать назад, я ещё в школе учился, мы с мамой приезжали сюда, на университетскую базу отдыха, она тут недалеко где-то, и пошли мы за грибами. Тогда с ней вышли к нашей этой избе, и, как сейчас помню, пошли по этой просеке. — Жмуркин махнул в ту сторону, куда недавно отправились на своих транспортах охотники. — И помню я, как на этой дорожке перед нами здоровенная коричневая глухарка заковыляла, приволакивая якобы сломанное крыло. Я хотел за ней броситься, а мама говорит: «Не трогай её — это она так придуруется, она отводит нас от птенцов своих. Лучше посмотри по сторонам». И мы с мамой увидели на краю просеки, рядом с тропинкой, двух больших, довольно взрослых глухарят. Они лежали, распластавшись на земле, коричневые, плоские, как блины, и большие, как взрослые куры, раскинув крылья, и не шевелились. Вот так!

И тут произошло невероятное: пока друзья стояли, переговариваясь, перед ними на просеку, эту, прорубленную морозом в белоснежном лесу просеку, вышел зверь — до него было метров семьдесят. Жмуркин вскинул ружьё и выстрелил дважды, почти дуплетом. Кабан подпрыгнул, потом присел и бросился в чащу.

— Я, по-моему, попал!

— Попал, попал — я видел, как он присел.

— Да нет, он подпрыгнул сначала. Илья, если я его ранил, он может быть очень опасен. Ты нож, который я тебе вчера дал, из ножен достань: кабан может на нас напасть.

— А я и не брал твой ножик!

— Вот это напрасно. Давай быстро в дом.

— Ты что, пошли за кабаном! Ты же его убил, он здесь где-то рядом лежит. Пошли.

И тут заурчали снегоходы — охотники возвращались, и совсем с другой стороны. Вернулись местные егеря и один подполковник, держащий на руках лайку Пакету.

— Это вы тут балуетесь, лес пугаете? — спросил дядя Вася, егеря что постарше.

— Я в кабана стрелял и, по-моему, попал, — ответил Жмуркин.

— Это что — ты из этой пукалки стрелял?

— Да.

— А чем стрелял-то: дробью или картечью?

— Нет, у меня хорошие жаканы, турбинки настоящие.

— Поедем посмотрим.

Снегоходы взревели, и мы отправились посмотреть на результаты жмуркинских выстрелов. Пукета поняла и бросилась впереди всех. У следов кабаньих встали.

— Смотри, вон капли крови, четыре капли. Наверное, в живот попал — это правильно, далеко не уйдёт. Хороший выстрел для твоей игрушки, Михаил, — тут точно семьдесят метров есть. Так, давайте мы с Зелёнкиным и с Пукетой пойдём за зверем, ты, подполковник, остаёшься дежурить у снегоходов — понадобятся, а вы, журналисты, быстро в дом: если зверь ранен, а оружия при вас нет, то лучше вам не рисковать. Ждите.

Тревожное что-то было в словах пожилого егеря, и не стали друзья ему возражать.

Заварили свежий чай, сидели, молчали, курили. Илья пытался разговорить Жмуркина, но ничего у него не получалось — тот был погружён во что-то своё, глубокое и недоступное.

— Домой сейчас поедем, — бросил он Криворотову.

— Что так?

— Да пустое всё это.

Тут подъехал и генерал на уазике, и егеря уже притащили волоком кабана, привязанного за ноги к снегоходу.

— Метров двести ещё пропёр по бурелому и под комель сосны старой ткнулся — чуть вытащили его оттуда, — рассказывал дядя Вася. — Обе пули в живот — у него, наверное, полное брюхо крови-то. Конечно, до секача ему ещё расти бы да расти, но подсвинок хороший — килограммов девяносто будет. Михаил, поздравления наши! Давай тащи сюда на воздух бутылку да стаканы: надо «на кровях» отметить.

Тут уже Илья Криворотов подсутился — ему насчёт выпить повторять не надо. Три бутылки водки и набор пластиковых стаканчиков замелькали в руках. Заговорили все разом: поздравляли Мишу, говорили про его отличное ружьё, правильный выстрел, планировали завтрашнюю облаву на новой точке. Только Жмуркин поставил свой стаканчик в сугроб и грустно смотрел на тушу убитого зверя с сосульками смёрзшейся грязной шерсти, стеклянным глазом и маленьким торчащим красным язычком. Криворотов сутился и всех фотографировал, но Михаил наотрез отказался фотографироваться со своим трофеем. Дядя Вася отрезал кабаньей хвостик-крючок, протянул ему, Жмуркин механически сунул его в карман полушубка.

— Михаил, — дядя Вася обратился к виновнику, — давай я тебя сейчас буду учить кабана свежевать, пока он тёпленький. Затащим его в сарай — там удобнее. Главврача зови сюда: разделка туши — это по его профилю. Печёночку прямо сейчас пожарим — вкуснее ничего не бывает. Ты, Илья, иди готовь всё на кухне — будешь за повара сегодня.

— Да-да, — ответил Жмуркин, — сейчас иду.

Зелёнкин отпер сарай, и втроём — егеря и капитан Володя — затащили тушу внутрь.

Криворотов отыскал в сугробе жмуркинский стакан и оприходовал его тоже — что добру пропадать. Михаил тем временем подошёл к генералу:

— Товарищ генерал, разрешите обратиться?

— Ты что, конечно, обращайся.

— Дядя Коля, мой друг Илья что-то совсем расклеился: то ли простудился, то ли грипп у него, — нам бы домой срочно надо. Разрешите?

— Да ты какого, — после такой удачи и смыться решили? Хотя, если заболел, то лучше, конечно, не рисковать. Я скомандую. Володя, порученец мой, вас до станции добросит: тут, говорят, электрички каждый час. А до станции сорок минут. Собирайтесь. А кабанятинки я вам с мамкой сам потом привезу.

Криворотов, довольный, сидел на крылечке с пластиковым стаканчиком в руке, и бутылка водки, почти пустая, стояла рядом.

— Илья, давай собирайся, — домой едем.

— Да ну, всё только начинается. А ты — домой.

— Давай-давай, мне срочно домой надо.

— Ну, если надо, то едем!

Уезжали не прощаясь. В суете никто и не заметил их побега, а если заметили, то решили, что так и надо. Уже в машине, выбираясь из лесных сугробов на трассу, Илья понял, что произошло что-то серьёзное, и спросил:

— Миша, ты объясни мне, что произошло? Ведь я всё же тебе как-никак друг, не верю я во все глупости, которые ты тут наговорил.

— Илья! Видимо, нет во мне ни капли королевской и даже плохонькой дворянской крови. Понимаешь, почему?

— Нет, не понимаю!

— А потому, что охота — это царское или великокняжеское дело, а у меня не получилось. Не получилось у меня радости от этого убийства. Вот знаешь, с чем я сегодняшнее событие сравнил? Год назад ездил по гостевому вызову с барышней одной в Испанию прогуляться, и барышню надо было мне хорошенько прогулять; да ты её помнишь, всё приставала ко мне. И, конечно, я подготовился. Рассмотрели мы в Барселоне все домишки Гауди — на картинках они лучше. Ходили мы и на самое крутое фламенко — это сравнивать не с чем, это надо только видеть, восторги наши от этих танцев не пересказать словами. А вот на корриде настоящей я увидел, как на потеху зрителям убивают большое красивое животное, зрители от радости бросают на арену какие-то подушечки, игрушки, кошельки, цветы, а потом эту тушу в тонну весом, которая только что была большим гордым животным, за ноги волоком утаскивают с арены. Это было так мерзко, — меня прямо затошнило. Сегодня меня тоже чуть не вырвало: стало и противно, и стыдно, и мерзко. Я до сих пор не могу себе объяснить, зачем это сделал! Зачем я стрелял? Зачем нам этот кабанчик нужен был?

— Так я же тебе давно говорил, что ты наш, деревенский; а ты — «дворяне мы, дворяне»!

Максим Глазун

Правила игры

* * *

из плена в плен перелетая
всё больше кажется пустая
стряхнула бабочка пылицу
её гоняет ветер дикий
над полем боя вой и крики
и нестремление к концу
листок оторванный кленовый
напрасно новую основу
приклеиться себе искал
непримиримо остальное
крыло разрезало стальное
и не собратся по кускам
что бог похож на беспилотник
перед марией клялся плотник
но та неверье предпочла
а кто кружил над головами
не объясняется словами
наличием добра и зла

* * *

смерть неприемлема но ей
смешно от слова человека
граница не видна верней
меж звуками в пространстве неком
ей время в точке не открыть
найдя в нём силу многоточий

Глазун Максим — поэт. Родился в 1996 году в Подмосковье, в г.Ступино. Студент Литературного института им. А.М.Горького. Публикации в журналах «Новый мир», «Пироскаф», «Кварта» и др., а также на сайте «Полутона» и др. Автор сборника стихов «Из бранного» (М., 2025). Лауреат премии Р.Рождественского (2018), финалист «Филатов Фест» (2021). Живёт в г. Ступино.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2023, № 4.

она на правила игры
как зрители смотреть не хочет
как бы застывшая во всём
она мерцает в несознанке
не вынесенный богом сор
отчаянья грибница в банке

* * *

нет дыма без огня
отечество в окне
приветствует меня
не отвечает мне
на принцип домино
костяшками домов
хрустит луна темно
не трогает умов
всегда должна быть ночь
и звёзды в слове мо

* * *

не лишены ума
обманутые сердцем
накрывшая зима
идёт который месяц
за отступом весны
следили за откатом
чего-то лишены
идущие на брата
контроля не желай
в людей сдувая свечки
на день чего-то лай
и дымные овечки
виновник торжества
уйдёт и не ответит
а кажется сперва
что вырастают дети

Павел Юрьев

Австрийский инцидент

Из записок отечественного путешественника

Было это давно, лет двадцать уж как. Конец января. И мы были счастливы где-то в районе Цель-Ам-Зее или Капруна. То есть совершенно счастливы! Славные были времена узнавания мира вообще и Австрии в частности. Австрия — щедрая душа — открылась нам во всей своей красе: горы, снега по пояс, мороз, сплошная облачность и отель со шведским столом и «банно-прачечным» комплексом. По такой погоде, надо сказать, баня и всё, что к ней прилагается, совсем не лишнее удовольствие. И потому мы всей нашей весёлой компанией в свободное от лыжных прогулок время вприпрыжку бежали именно туда — к теплу поближе. Это как раз те любимые минуты, когда обед уже давно закончился, а ужин ещё и не думал начинаться.

А вы были когда-нибудь в германских банях (термах, саунах и прочее)? Нет? Тогда вы не знаете жизни во всей её полноте и первозданности! Спешу сообщить, что немецко-австрийские граждане и особенно гражданки (в отличие от гражданок, скажем, итало-испанского происхождения), судя по всему, так и не вкусили от древа познания и потому принимают общественные банные процедуры исключительно в голом виде. Причём одновременно! В одном и том же помещении и в одно и то же время. Нет, я не вру, — это чистая правда, вот вам крест! Хочу с полной ответственностью заявить, что костюмы Адама и ещё больше Евы хорошо смотрятся далеко не на всех человеческих организмах, увы. Многим больше к лицу были бы телогрейка и валенки, а иным — ступа и метла. И потому банная диспозиция обычно наблюдалась следующая: австрийские граждане и гражданки в чём мать родила, а между ними кое-где северные граждане обоего пола, частично завернутые в полотенца. При этом, с каждым днём полотенце становилось всё меньше, поскольку разврат, конечно, затягивает.

Вот в такой беспокойной обстановке и произошла эта история. В первый вечер нашего австрийского отдыха сидим мы в самой сауне: эдак три-четыре скромных представителя севера и шесть-восемь местных бастинд и гингем. Надо заметить, что одна-две германские особи ещё поддавались половому определению, а три-четыре, увы, вышли из употребления ещё к середине прошлого века. Температура в помещении аж под восемьдесят градусов по Цельсию. Сидим, значит, греемся, каждый думает о своём: кто о кружке пива, кто об итогах второй мировой войны. И тут открывается дверь, и входит...

Юрьев Павел Васильевич родился и живёт в Москве. Окончил Институт Народного Хозяйства им. Г.В.Плеханова. Первая публикация автора.

Небольшое отступление от нашего плавного повествования. Неожданность заключалась в том, что какая-то особенно прогрессивная семья русских туристов взяла с собой на отдых в Альпы любимого дедушку. Дедулю мы заметили ещё с утра, когда он заблудился во время завтрака внутри шведского стола. Люди мы добрые, удивились, конечно, такой колоритной фигуре, но помогли выйти из окружения к своим. Дед был ещё крепок и бодр, серьёзным видом своим и особенно причёской как-то неумовимо напоминал покойного маршала Конева. Зачем его сюда привезли? Не знаю. Могу только выдвинуть несколько версий. Первая: дед — любимый член семьи, любимый настолько, что дети не могут расстаться с ним ни на минуту. Вторая: дедушка, вынесший на себе все тяготы социализма, переживший все поражения и добившийся всех побед вместе с советским народом, представлял собой совершенно неадекватное существо: что-то вроде ядерной бомбы с часовым механизмом, и потому оставлять его одного нельзя было ни при каких обстоятельствах. И третья: деда взяли с собой, чтобы он присмотрел за правнуками, пока внуки бороздят снежные альпийские просторы. Можете выбрать, какая из историй вам ближе.

Ещё дома дети, заманивая дедушку за границу, рассказывали ему о том, что в отеле, где останутся, будет сауна (она же баня) и что дедушка сможет каждый божий день греть свои старые косточки в культурной обстановке. Дед уговорился и прибыл в Европу в полном вооружении: спасибо, что берёзовый веник с собой не взял.

Итак, плавно возвращаемся к нашему повествованию.

...И тут открывается дверь и входит наш простой русский дедушка! Это было совершенно потрясающее явление. Уверен, что Господь наш при своем «явлении» такого впечатления не произвёл бы. Дедушка ввалился в сауну в семейных трусах по колено с очень модным в те годы цветастым рисунком, называемым «огурцы». В руках у него были полотенце и мочалка, на голове тёплая войлочная шапка а-ля будёновка с поистершейся красной звездой. В рядах русских туристов наш герой вызвал весёлый смех и приветственные клики. Германский же народ, независимо от пола, окаменел от неожиданности. Дед мрачно оглядел присутствующих, буркнул себе под нос что-то такое о «фрицах недобитых», после чего перестал обращать внимание на кого бы то ни было, а занялся своим привычным банным делом.

Сначала он зачерпнул воды из бочонка и плеснул её на каменку, чем с одной стороны несколько понизил температуру, но с другой — резко увеличил влажность. После чего стал махать над головой полотенцем, изображая взлетающий грузовой вертолёт. Эта банная процедура несколько понизила влажность и разогнала туман, зато повысила температуру до ста десяти по Цельсию. Когда туман рассеялся, выяснилось, что голые аборигены в полном составе сбежали с поля боя и полностью освободили банные площади. Тут наш герой забрался на самый верх, закрыл глаза и, судя по довольной физиономии, предался воспоминаниям то-ли о Брусиловском прорыве, то-ли об освобождении Вены, точно не могу сказать, не знаю.

Это чудное явление повторялось каждый день в течение всего нашего отдыха, и я, признаюсь, каждый раз с нетерпением ждал, что вот сейчас дед не выдержит, сорвётся и, войдя в сауну, ляпнет что-нибудь вроде «хенде-хох» или «гитлер-капут». Но нет, дедуля устоял перед всеми соблазнами этой развратной Европы! И потому я хочу сегодня поднять этот бокал австрийского пива за нашу русскую выдержку! Ура!!!

Асель Искакова

Очищение огнём

Рассказ

После сорока дней папа вспомнил о даче.

— Мира, съезди на дачу. Если мамины вещи какие-то остались или там, барахло ненужное — собери всё в кучу и сожги.

Папа заглядывает на кухню, где я раскладываю по ячейкам таблетницы его лекарства. Утро-вечер, утро-вечер.

— Прямо чичас съездить? — придуриваясь, я сбиваюсь с ритма, и маленькое таблеточное сердечко падает на пол.

— Кырсығын-а-ай!¹ — раздражается папа. — Прямо сейчас не надо. Завтра можешь, — разрешает он.

— Всё сжечь? — уточняю.

— Всё! Обряд очищения огнём. Знаешь такое? — папа поднимает вверх указательный палец.

— А ты? Давай со мной. Вместе и веселей, и быстрее, — поднимаю сердечко с пола и закидываю его в мусорное ведро.

— Нет, не могу. Завтра меня в одно место позвали.

— В какое место? Кто? — возвращаюсь к таблетнице и таблеткам.

— Әй, сен оны білмейсің!² Могу тебя отвезти, обратно — сама.

— На чём? На палочке верхом?

— На автобусе!

Если папе что-то надо — вынь да положь! В шесть часов утра в коридоре — покашливание и звучное: «Мира! Барамыз ба?»³. Вот же чёрт! Спать хочется. Входит папа, идёт к окну и раздвигает шторы. Солнечный свет нахально врывается в комнату и режет до головной боли глаза. Зажмуриваюсь и накрываюсь одеялом.

Искакова Асель родилась в 1971 году в г. Алма-Ате. Закончила Алматинский государственный медицинский институт по специальности «педиатрия». Занималась научно-исследовательской, преподавательской деятельностью. Окончила семинары «Детская литература и проза» и «Драматургия» в Открытой Литературной Школе Алматы. Рассказы печатались в электронных журналах «Дактиль», «Ангиме», литературном сборнике «Кұрақ көрпе» («Лоскутное одеяло») и «Литературная Алма-Ата». Живёт в Алматы. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

¹ Вот вредина! (казах.).

² Ай, ты их не знаешь (казах.).

³ Едем, что ли? (казах.).

- Да поедем, поедем! Я встаю! — поспать бы ещё часик, но куда там.
— Босай!¹ — напирает папа.
— Выйди, я оденусь! — сопротивляться бесполезно. Легче согласиться.
— Жду в машине! — победно шлёпают папины тапки.

Когда я была маленькой девочкой, дача была у чёрта на рогах. Вечную вечность ждёшь автобус. Если повезло влезть, в толпе с оголтелыми дачниками, их корзинами, граблями, ведрами, битый час едешь по отвратной дороге куда-то вверх по склонам, и куда-то вниз по отлогам. Подпрыгиваешь, качаешься, слушаешь про дорожную рассаду, вечерние поливы и дачных воров. Приезжаешь вымотанный и валишься на панцирную кровать с ярко-красным в белую полоску матрасом — перевести дух перед двухдневной пахотой на родительской плантации.

Сейчас, когда я — большая тётя, дача — недалеко, в оживлённом районе города. Едешь в машине с кондёром по хорошей дороге, в компании с любимым папочкой, под звуки «Казахского радио» и надеешься, что с запланированным обрядом очищения огнём справишься до вечера.

- Посмотри, какая красота!

На просторном, как терраса, крыльце папа широким жестом приглашает насладиться видом.

— Да, блин, — рассматриваю я через порог непонятное барахло, наваленное внутри небольшого, когда-то симпатичного домика — здесь работы до чёрта!

Величаво, как Мороз-воевода папа идёт оглядывать фазенду. Возвращается нескоро. У меня готова огромная куча — на вынос. «На костёр это всё! На костёр!». Когда, обливаясь потом, я ворочаю очередную коробку с каким-то тряпьем, папа начинает серьёзный разговор.

- Эльмира, выйди-ка, поговорить надо.

От неожиданности я даю крен влево, и откуда-то сверху на меня обрушивается куча старых шляп. Руки заняты карнавальными костюмами, в ногах мешаются облезлые половики, на голове — соломенный стетсон с порванной тульей. Выдохнув, я бросаю снежинкино платье, обшитое мишурой, цветастую цыганскую юбку и ещё что-то, безобразно блестящее и шуршащее, отпихиваю половики и, поглубже нахлобучив ковбойскую шляпу, выхожу на крыльцо.

Скрестив руки, папа восседает на старой лавочке. С трудом усаживаюсь перед ним на маленький детский стульчик с милым ёжиком на спинке. Ловко перехватив шляпу, папа надевает её, туго затянув на подбородке кожаные завязки. Я смотрю на него снизу вверх. Солнце за его головой слепит оголтелыми лучами, и папа кажется мне огромным чёрным анчуткой под дурацкими холмиками стетсона.

- Слушаю внимательно! — прищуриваюсь я, но лица папы разглядеть не могу.

— В общем, так! Сорок дней провели, всё как положено сделали. Можете ехать к себе, — папа покачивается в такт словам.

- А ты как же?

— А что — я? Сам прекрасно справлюсь. Мен — бала емеспін! Ересек адаммын². — Подожди, разве не лучше, если мы будем рядом? Жили же мы все вместе. Обычно, старики мечтают жить с детьми, внуками. Большой семьёй.

¹ Давай! (казах.).

² Я — не ребёнок! Взрослый человек (казах.).

— Я — не старик. всю жизнь о ком-то заботился, обеспечивал. Солай емес па?¹ Теперь хочу пожить в своё удовольствие.

— Так жить с внуками, детьми — это не удовольствие? Раньше тебя это устраивало. И теперь наша очередь — заботиться, обеспечивать.

— Я хочу пожить один. Приходите. Пожалуйста. Сам буду к вам приходить. Будем общаться. Если что надо, — скажите. Но сейчас я хочу пожить один.

— Один? Как ты справишься?

— Ну... может, я буду и не один.

— А, вон оно что!

— Пока рано говорить. Но вы езжайте к себе.

Папа встаёт, считая, разговор оконченным. Ошибочка!

— То есть ты собираешься привести в дом, где совсем недавно умерла... твоя жена, с которой ты вообще-то прожил сорок лет, какую-то бабу?

— Почему — «бабу»? Женщину. — Папа садится.

— И эта баба будет спать в маминой постели, готовить на её кухне и пользоваться её вещами?

— Если тебе нужны вещи, можешь их забрать. — Папа презрительно выпячивает нижнюю губу.

— Да уж, не сомневайся, мамины вещи я заберу!

У меня дёргается голова. Невольно хватаю себя за шею, пытаюсь говорить спокойно.

— Баракло нам не нужно! — Губа оттопыривается ещё больше.

— Баракло, значит, не нужно? А квартира, значит, нужна? О, мақау²! Ишь чего! Квартира — моя! Я её покупал, обставлял! Она — моя!

— Разбежался! Во-первых, половина квартиры — мамина. По закону. Во-вторых, мама оставила её мне.

— Оттама!³

— Оттаймын!⁴ Ещё как оттаймын! На свою половину она написала мне дарственную. Можешь у дяди Эрика спросить.

— Жындысың ба?⁵ Когда она успела? — Папа встаёт и приближается ко мне.

— Тогда, когда ты, типа в шутку, просил её разрешения завести тоқал⁶.

Стульчик подо мной шатается. Чтобы не упасть, хватаюсь за него руками.

— Почему я об этом не знаю? Как вы это провернули?

— Никто ничего не проворачивал! Всё по закону. Это безвозмездная сделка в пользу единственного ребёнка. Меня! Мама подарила мне своё. Не твоё!

— А Эрик-то, Эрик! Друг называется! Сволочь! Ничего мне не сказал. — Папа пятится к скамейке и чуть не садится мимо.

— Он-то и посоветовал тебе ничего не говорить. Нотариус он отличный!

— О, Тоуба! Бұл не деген масқара?!⁷

Папа съёживается и закрывает ладонями лицо. Соломенная ковбойка сползает с его головы и падает на пол. Бедный, бедный папа!

¹ Разве не так? (казах.).

² Дура! (казах.).

³ Не мели чушь! (казах.).

⁴ Буду молоть! (казах.).

⁵ Ты ненормальная? (казах.).

⁶ Вторая, молодая жена (казах.).

⁷ Прости меня, Господи. Это что за срам?! (казах.).

Надо бы подойти, обнять, успокоить и ничего с ним не делить никогда, никогда...

— Вот же вы подлые бабы! Вы — подлые, подлые бабы! — Ледяным ушатым обрушивается на меня его гнев. Он сочится из папиных глаз, стискивает его ладони в кулаки, ложится жутковатой гримасой на лицо. Папа резко встаёт, в один шаг оказывается рядом со мной, заносит руку для удара. Мне хочется к маме. Но мамы нет, и показывать, что боишься, нельзя.

— Ну давай, бей! — беззвучно шевелю я губами.

Папа надо мной большой и чёрный, широко замахивается кулаком. Где-то в глубине его глаз мелькает что-то жалкое. Он отступает и неловко, как пьяный, плюхается на скамейку.

Что-то трепыхается в горле. В ушах звенит. В голове — мрак. У папы оглушительно звенит телефон. Запредельно громко льётся зефир «Любви каких-то там лебедей». Он что-то говорит и говорит в трубку, смотрит на меня тяжёлым взглядом и, махнув рукой, встаёт и уходит. Хлопает дверь машины, заводится мотор. Он уезжает. Хочу встать со стульчика и шлёпаюсь наземь. Подняться сил нет, и я на четвереньках ползу в домик. Там, привалившись к облезлой стене, через распахнутую дверь долго смотрю на заросший, никому не нужный сад.

То, за чем я приехала, надо закончить и, двигаясь, как кукла на верёвочках, открываю чемоданы и сундуки. Последняя коробка. Тяжесть неимоверная. Нетерпеливо рву крышку. Пластинки! Back in the USSR какой-то! О! «Мелодии и ритмы Сан-Ремо»!

...На пятнадцатый день рождения мама подарила мне улётную пластинку. Итальянцы. Просто отпад. Весь класс выстроился в очередь на «послушать». Когда дело дошло до мудилы Романюка, всё, как и всегда с ним, пошло не так. Пластинку он не отдавал две недели, а потом послал меня. Фиг с ней, с пластинкой. Но губошлёп назвал меня узкоглазой калбиткой, а это я спускать не собиралась. Мне нужен Баур. Мой двоюродный кузен. Наши мамы — троюродные сёстры, у казахов это родство — близкое. Он — «районовский». Районовские — подростковая элита с криминальным душком, давно и прочно поделившая город на сферы дурного влияния. Те, что живут около Русского театра, — «Драм»: подставы, мелкий рэкёт, «счётчик». «Покер» — шулеры, развод на деньги. Баур принадлежал к статусному «Вигваму» — недоступный импорт, дефицит, фарца.

Я — СПС — сама по себе. Таких ставят на «счётчик», вызывают на разборки, снимают новые кроссы. Приходится лишнего не болтать, не наглеть, не нарываться. Я — эспээсник беззаботный. С крышей.

— Ну, пожалуйста, что тебе стоит, — ною в телефонную трубку.

— Мир, я ж спрыгнул с этого. Запало мне всякой шушёрнёй заниматься!

— Ну, я очень прошу!

— Я тебе других итальянцев достану!

— Ты тупой, не в диске дело!

— Стоп, а в чём тогда? — кузен напрягается. — Грабли распускал?

— Ну, не грабли... язык распускал.

— Вот ссука! Ладно, разберёмся. Он СПС или щегол районовский?

— А я знаю?

— Короче, с тебя — «Мишка на севере». — Баур у нас сладёна.

Через час кузен перезванивает. Два толковых пацана с «района» моей школы спешат мне на помощь.

Вечером выхожу во двор. Идти на стрелку страшновато. Холодок пробегает по спине и прочно застревает в районе копчика. На скамейке под усохшим карагачём — двое. Один — из параллельного класса. Болтливый, вертлявый, смазливый Дос¹ с шакальными повадками.

— Серьёзно? — смешливо орёт он, увидев меня. — Ты — сеструха Баура? Ни фигасе! Не знал!

Дос криклив и голосист. В школе его слышно через весь длинный и узкий, как кишка, коридор. Ещё он дурашлив, но неглуп.

Второй хорошо сложен, прикид — по моде «центровских» пацанов. Чёрное пальто, белый шарф, лисий малахай. Узкие чёрные брюки, на ногах — чёрная «лапша», носки как положено — белые. Чёрный щёлкает зажигалкой, закуривает. У меня отвисает челюсть. О, какой! Тонкое лицо, прямой нос, изящно очерченные губы. А глаза, а брови! Из-под малахая выбиваются пряди чёрных, пышных волос с роскошной чёлкой. Чёрный закуривает, снисходительно окидывая меня взглядом старшака.

— Тебя ж Мира зовут? — Дос наводит мосты. — Ну, меня ты знаешь. А это — Арыстан², чёткий пацан. Будем за тебя «мазу» кидать.

— Хорош базарить! — растягивая слова, бросает чёрный Арыстан.

От его густого бархатного баритона холодок торопится вверх по спине. С именем его родители угадали!

— Ал, кеттік!³ — Чёткий пацан щелчком выбрасывает недокуренную сигарету, и мы топаем к воротам.

Они знают о Романюке всё. Адрес. Расположение комнат в квартире. Время прихода родителей с работы. Из их птичьего языка, смеси казахского, русского и особенного «районовского» сленга, я понимаю не всё.

Обидчик живёт недалеко, в паре кварталов. Розовая девятиэтажка, сплошь из двухкомнатных квартир, объединённых длинным коридором. «Ну и фигню итальяшки понастроили!». Дос, обитатель престижного «министерского» дома, презрительно сплёвывает и пинком распахивает дверь подъезда.

Романюк открывает неожиданно быстро и непонимающе таращится на нас. Дос мгновенным резким движением хватает его за шею и вталкивает вглубь крошечной прихожей. Арыстан следует за ними, но, заметив, что я растерянно зависаю на пороге, втаскивает меня за шкуру внутрь и захлопывает дверь.

— Ну что, артист, где пласт? — негромко, почти шёпотом начинает Дос. Он крепко сжимает шею Романюка, как маленький хищный зверёк, цепко удерживающий добычу. Добыча оцепенело молчит.

— Перешугался! Ты чё так резко наехал? — мягким, обволакивающим баритоном по-доброму укоряет старшак. — Как там тебя, Костя вроде? Костя, смотри сюда, — он кивком указывает на меня. — Девочку видишь?

Костя молчит.

— Девочку видишь, спрашиваю? — баритон холодеет.

— Ви... вижу, — еле слышно отзывается Костя.

— Ещё раз разинешь на неё свой поганый рот, я тебя лично не просто обижать буду! Я отымею тебя во все дыры, какие только найду, понял?

¹ Друг (казах.).

² Лев (казах.).

³ Ну, пошли (казах.).

Костины глаза наполняются ужасом. Я цепенею. Сердце ухает в пятки. Вижу сузившиеся лисьи глаза Арыстана, его острые скулы, неприятно вытянувшийся нос. «Фу, какой!» — меня мутит.

— Так где пластинка? — не унимается Дос.

— Я её послушать дал, — выдавливает из себя Романюк.

— Как же так? — цедит Арыстан. — Такой интеллигентный мальчик, в итальянском доме живёшь, а чужие вещи не возвращаешь. Чтоб завтра диск был. Теперь проси у девочки прощения.

Точным, сильным пинком он подталкивает Романюка ко мне.

— Эльмира, прости меня!

— Не так! Как следует проси.

— Прости меня, пожалуйста, Мира.

Дос подскакивает сзади и коротким ударом между лопаток валит Романюка на пол.

— Не надо, — слышу я вроде бы свой визг.

— Давай на коленях проси, шакал! — Дос высится в маленькой прихожей, широко расставив ноги, между которыми, маленький и нелепый, что-то лепечет бедный Костя.

— Чего он там тебе сказал? — Не сразу понимаю, что спрашивают меня.

— Узкоглазой назвал, — выдыхаю я.

— Ах ты, падла! — Дос хватается Костю за волосы и поворачивает лицом к себе. — Орыстың шошқасы! Сары көтінді айырайым ба, көтлік неме!¹

— Зря стараешься! Аққулақ² ничего не понял, — усмехается Арыстан.

— Ща я ему перевод устрою, — Дос звереет. Побагровев, он нещадно пинает Костю — по голове, спине, животу.

— Аккуратней, чтоб незаметно было, — Арыстан спокойно наблюдает, только подрагивает подбородок.

Забившись в угол, вижу, как Костина голова неловко дёргается, глаза пустеют. Меня выворачивает.

— О, блин! Этого только не хватало! — Арыстан брезгливо морщится.

За шкуру он легко поднимает меня с пола, тащит в ванную и, открыв кран, моет моё лицо. Заставляет прополоскать рот, вытирает несвежим полотенцем, от запаха которого меня выворачивает снова.

— Да что ты, блин... на фи́га мы тебя с собой взяли? Вот же лажа!

Арыстан снова моет мне лицо и волочёт прочь из квартиры. У лифта нас нагоняет Дос.

— Всё ладом! Оклема́лся. Валим, время поджидает.

На следующее утро «Мелодии и ритмы Сан-Ремо» — на моей парте. Романюк не появляется пару дней, за которые успеваешь перейти в другую школу...

Хватаю «итальянцев», выхожу из подвала и с размаху забрасываю большой конверт в приготовленную кучу. Туда же летит и порванная ковбойка. Головка длинной спички озаряется рыжим огоньком. Кидаю её в ворох тряпья, оно мгновенно вспыхивает. «Вот тебе — очищение!»

¹ Свинья русская! Порвать твою рыжую задницу, пидар! (казах.).

² Белоухий (казах.).

Дмитрий Якушкин

Руновский переулок

Когда слышу собственный голос, я, конечно, понимаю, что сегодня словосочетание «кинотеатр повторного фильма» звучит для собеседника сложно и даже диковинно. Для меня же московский кинотеатр, имевший свою репертуарную нишу и преданную публику, в котором я впервые посмотрел «Бриллиантовую руку» и «Июльский дождь», с билетным залом, отделанным тяжелым серо-белым мрамором с глубокими — теперь скажут антивандальными — окошечками-амбразурами для общения с кассирами, с выразительной афишей «Гори, гори, моя звезда», продержавшейся долгое время на фасаде, настолько осязаем, что без запинки называю его как ориентир, если договариваюсь о встрече на Большой Никитской, чуть не сорвалось с языка — улице Герцена. Я спотыкаюсь также на слове Новоарбатский, сохраняя за собой Калининский (некогда вторая по рангу парадная улица в Москве), и всё равно делаю над собой усилие, чтобы произнести Тверская вместо улицы Горького. Из новых «старых» названий легче других признал Остоженку с Пречистенкой, хотя проучился в институте, чей адрес — Метростроевская, 53 — часть его мифологии. Студенткам ИНЯЗа, вероятно, тоже небезразлична Метростроевская, а вместе с ней и человек, которого звали Морис Торез. Кто сегодня с ходу объяснит, кем был этот деятель, подаривший русскому языку странную фразу «а я закончил Тореза»? Не только кузница переводческих кадров, но одна из органичных по архитектуре набережных Москвы много лет носила имя лидера французской компартии.

Пару лет назад приснился сон, навеянный, очевидно, подсознательной тревогой за схемы дорожного движения в городе: через Красную площадь вдоль ГУМа прокладывают скоростную магистраль, чтобы связать Тверскую с Большой Ордынкой, тем самым сокращая расстояние между Шереметьево и Домодедово. Фантазмагория? Несложно же упразднить пешеходную часть у гостиницы «Москва», сделав разметку на брусчатке. Восстановленные в 90-е Иверские ворота можно оставить на месте, а подниматься на площадь по правую сторону от Исторического музея. В 60-е вдоль ГУМа уже курсировали такси и автобусы — что документально подтверждено у Георгия Данелии в «Я шагаю по Москве» и благодаря чему площадь вписывалась в часть городского рабочего пространства. А «неприкасаемых» объектов в Москве

Дмитрий Якушкин — российский журналист. Родился в 1957 году в Москве. Окончил МГИМО. Работал в газетах «Комсомольская правда», «Московские новости», собственным корреспондентом АПН во Франции. Автор книги «Парижские истории» (2015). Публиковался в журналах «Медведь», «Русский Пионер». Ведёт курс в ВШЭ. Живёт в Москве. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

не существует в принципе. До диктата коммерции в сфере московской недвижимости столицу корезили с помощью административных решений. Когда я повзрослел настолько, чтобы обращать внимание на подобные метаморфозы, то вспомнил, как за одну ночь снесли (такие акции носят характер набега) квартал двухэтажных домов у подножия холма, откуда обозревал Москву булгаковский Воланд со свитой. С трепетом готовились к первому визиту в СССР американского президента Ричарда Никсона, которого по высшему разряду пустили ночевать в Кремль. Домики были неказистые, но типично московские. Неоспорима ценность особняка, где провел ночь Пушкин или кто-то из классиков, однако для аутентичной атмосферы ряды домов, символизирующих эпоху, ценнее отдельных строений. Остается утешать себя тем, что Боровицкий холм «зачистили» как компенсацию за первое крупное соглашение с американцами по ракетам. Никсон, конечно же, ни о чём не подозревал. Впрочем, смешно сожалеть о камерных архитектурных утратах, когда вопреки юнесковским нормам пустовавшую лет 40 лужайку придавила фигура каменного гостя. Он следит за тем, чтобы не перебежали на красный свет.

Первозданные ансамбли в Москве — редкость. «Калининский-Новоарбатский», проложив дорогу от Кремля на Рублёво-Успенские дачи, не пощадил Арбатские переулки и дворы. Жители окрестных домов выходили семьями — и, судя по выражениям лиц на фотографиях, по большей части заворуженно, чем обреченно, — наблюдать, как взрывают дома, примыкавшие с двух сторон к Трубниковскому переулку, пробивая спуск через Москву-реку к гостинице «Украина». Лозунг «Дорогу новому!» совпадал с оттепельным настроением и крепко засел в головах москвичей. Да и восприятие понятия «старина» явление подвижное, а критерии, что к ней относить, условны. Не испытывая чувства сожаления, я сам с любопытством наблюдал за грандиозной стройкой, стоя на углу улицы Чайковского и будущего Калининского у серого жилого дома с башней, который в нашей округе называли «морфлотовским» из-за ведомственной принадлежности. Вся старосоветская Москва, хотя и не очень ясно, с какого года вести отсчет, бывает связана с весной и с обилием воды.

Прокладка Калининского проспекта вдохновила на дубль два. Почистив кварталы между Сретенкой и Мясницкой, проложили Новокировский проспект (Сахарова) — инкарнацию Нового Арбата, — который, в отличие от посохинского проекта, так и не ожил в обеих частях, разделенных Садовым кольцом, зато остатки патриархальной Москвы подорвал. Для натурных съемок по Толстому или Островскому в Москве давно требуются павильоны. Вспомнились троллейбусные провода на набережной напротив Кремля, угодившие в кадр «Сибирского цирюльника» вместе с юнкерами, брошенными режиссёром подавлять уличные беспорядки во время одной из революций. Но и с более поздними эпохами возникают трудности. Просто узнаваемые адреса в сегодняшнем кинематографе востребованы как-то меньше, чем когда снимали Москву Рязанов, Хуциев и Лиознова в чёрно-белые 60-е. У них город играл не эпизодическую роль, и зритель сопереживал при виде перекрестка у Сретенских ворот с табачным киоском, где закончились сигареты «Друг», гаражей, спрятанных под метромостом Филёвской линии, и суматошной стоянки такси на площади трех вокзалов. Что-то надломилось в самом режиссёрском подходе: не условную Москву стесняются показывать в кадре. Зато актёр Григорий Служитель в своем романе замечательно сделал осязаемым город, благодаря скитаниям кота Савелия.

Как-то ночью я взлетал из Шереметьево по направлению в Бишкек. Было безоблачно, и пока самолет неспешно огибал город над Лосиным островом, ориентируясь по кольцевой дороге, я задумал найти среди огней треугольник

кремлёвского комплекса. Окруженный городской инфраструктурой — расходящимися проспектами, ещё не обжитыми промзонами, кучкой небоскребов там и сям, — Кремль производил хрупкое впечатление. Если вдуматься, то мы проживаем бок о бок — хоть и не впечатлены соседством — с настоящей крепостью, очевидно, всё еще пригодной для того, чтобы выдерживать осады. Осталось только запастись горячей смолой.

Был момент, когда мне пришлось трудиться в несуразном офисном здании на канале за гостиницей «Балчуг». И если возвращался домой пешком, то, перейдя Москворецкий мост, задумывался: продолжать ли дальше по открытому пространству площади или выбрать первую линию ГУМа. Выбирал ГУМ. Площадь, смахивающая на декорацию из исторического спектакля в Большом театре, давила эмоционально своей торжественностью. Она не сочетается с обыденностью, уж такая у нее сложилась непростая аура.

Пугающий космичностью кремлёвский ансамбль тоже не обладает иммунитетом. В 30-е над Красной площадью нависла угроза тотальной трансформации, причем с ведома выдающихся архитекторов, одержимых футуристическими проектами один масштабнее другого. Всё переплетено: теперь я живу в доме, построенном как раз Чечулиным, одним из авторов задуманной перестройки. До непоправимого оставался один шаг, но что-то у кого-то в душе ёкнуло. Потом вмешалась война, а после неё вернуться к проектам циклопических министерств не решились. И средств не хватало, и кавалерийский задор спал. Хрестоматийный пример архитектурного волонтаризма — хрущёвский Дворец съездов со зрительным залом, кажется, под число делегатов партийных форумов. Правда, за полвека жизни сцена КДС приняла столько мероприятий и концертов, что вписала себя самостоятельно в историю города. КДС небедно построен, не потерял парадного лоска и уже не вызывает оторопь, как у поколения горожан, непосредственно наблюдавших за новым строительством на месте Оружейной палаты начала XIX века. В те же годы проект дворца только усугубил неприятие фигуры Хрущёва.

Ползучее привыкание к инородным вкраплениям на теле города выдает некую индульгенцию сторонникам новых радикальных градостроительных решений. Упомянутая выше ось Тверская-Ордынка имела бы даже практический смысл. Кремль уже окольцован объездной дорогой, водители утилитарно используют её, чтобы выбраться из центра на радиальные улицы. Летним утром, которое красит нежным светом знакомые кирпичные стены, ещё получается по достоинству оценивать главную цитадель. Зато ежевечернее стояние в пробке на набережной, грязь и распутица весной и поздней осенью низводят памятник до статуса бутафорского сооружения. Сузив проезжую часть, расширили пространство вдоль стены, и здесь материализовались, наконец, пешеходы. Раньше одинокий прохожий на Кремлёвской набережной, обдаваемый брызгами из-под колес, смотрелся как лазутчик с недобрыми намерениями.

Транспортные коррекции в городе, в котором вырос, переживаются особенно остро. Эволюция таксомоторов, номера и маршруты автобусов-троллейбусов-трамваев не набор цифр, а прожитые года, встречи, семейные отношения. Непонятно, как мы справлялись с узкими дверьми в автобусах и заносили в метро в час пик беговые лыжи, с чехлом на верхних концах.

На стоянку такси у современной «Кофемании» возле дома Петра Чайковского на Кудринской площади (бывшей площади Восстания, или как выразился в разгар перестройки один таксист, — «площадь роковой ошибки») дисциплинированно

выезжали с Красной Пресни свободные двадцать первые «волги-такси» со светящимся зелёным огоньком из 5-го и 7-го таксопарков. Если водители подсаживали каких-то ушлых пассажиров за несколько метров до стоянки на светофоре или у длинного перехода через Садовое, то очередь бурно реагировала на несправедливость. Возмущение осталось в памяти как проявление старых общественных норм. На 107-м автобусе — с конечной у Детского мира и с остановками у Большого и Малого театров — возвращались вечером после спектаклей. На «Б» или 10-м проезжал две остановки в школу. Отчетливо помню: двустороннее движение по незастроенной Манежной с одинокой стелой в честь будущего (!) памятника 50-летию Октябрьской революции, конечную 33-го троллейбуса за книгохранилищем Ленинской библиотеки, разворот на Садовой у американского посольства, левый поворот с Новоарбатского (Калининского) на Новинский (Чайковского), который, как рассказывали тогда, отменили после столкновения с несшимся по осевой правительственным ЗИЛом. Сохранилось чуткое отношение — к редко ходившему, и от этого «камерному», троллейбусу № 8, сохранявшему дольше других жёлто-синие вагоны старого полукруглого образца с шикарными, вроде никак не прикрепленными к лавкам, кожаными подушками на задней площадке. Сделав разворот на революционной пресненской брусчатке у гранитного цоколя высотного дома и кинотеатра «Пламя» (превращенного в духе 90-х под эгидой борца-актёра Чака Норриса в казино), он добирался до Москворецкого моста, чтобы проследовать до Нагорной улицы, переместившись таким образом прямо-таки в другую галактику. (Многие маршруты связывали между собой разные по настроению районы. «Силикатный проезд» — конечная 64-го автобуса, маршрут которого начинался от стадиона в Лужниках, — эстетически не соответствовал Плющихе и Неопалимовскому переулку уже одним названием.) Когда до «раскулачивания» московских троллейбусов, сидя за рулем, я оказывался позади «восьмерки» на подъеме к Москворецкому мосту, то троллейбус явно не вписывался в пейзаж. Засеяли травой «Россию» и «Зарядье», давно разбогател обшарпанный «Бухарест», ставший «Балчугом», возник народный мемориал Борису Немцову, всё кругом претерпело эволюцию, а именно 8-й троллейбус при этом продолжал взбираться по Васильевскому спуску. Привычные номера маршрутов городского транспорта смотрятся странно в новом контексте.

Умом понимаю, что ограниченная маневренность троллейбусов мешала автомобилям, но всё-таки хотелось, чтобы замены происходили бы поэтапно, не умножая тревожность. В Милане и Вене сохраняют даже деревянные трамвайные вагоны. Наступит момент, когда то, что сверкает никелем, станет пригодным для музея.

Одна из загадок из детства: каким образом удерживается на крутой горке тяжёленный трамвай «А»? На тормозах вагон спускался к Трубной площади и после того, как водитель отметит табель, карабкался вверх. Конечные остановки в детстве всегда притягивали. Они упорядочивали мир. В «моих» трамваях было много дерева — примерно как в общежитии главного корпуса университета на Ленинских горах. Одно из ранних впечатлений: бабушка еще только поднимается в вагон, ей предстоит найти мелочь для билетов, пройти по проходу, а я спешу занять два места на гладкой полированной деревянной лавке — себе и ей, и обязательно у того окна, которое раскрыто. Лавки образовывали тесные закутки. Сев у окна, пробраться назад в проход уже было трудновато. По сравнению с пластиком и легкими сплавами интерьер прежнего московского трамвая — символ добротности, прочности, уюта и ручного труда. Потом трамвай тронется, покатится вдоль московского бульвара, и ветки

Александр Марков

Несожжённые письма

Наталья ИВАНОВА. Судьба и роль. — М.: Рутения, 2024. — 384 с.

Литературное прошлое не нуждается в нашем посредничестве — оно говорит само, если мы согласны стать не толкователями, но слушателями. Наталья Иванова в этой книге не анализирует, а создает акустическое пространство, где голоса умерших — Пастернака, Шаламова, Синявского — звучат без посредников, как радиопередачи из исчезнувшей не глухонемой Вселенной. Их реплики, оброненные в письмах или вырванные из лагерных дневников, не требуют пояснений — только внимания, того самого «тщательного внимания», которое превращает текст из объекта чтения и изучения в место встречи. Когда автор признается в Послесловии, что ждала, готовя работу в семинаре В.Н.Турбина, пока Павлова и Ростопчина «заговорят собственными голосами», речь идет не о методе, а об этике: писать о мертвых — значит позволить им занять наши сны.

Предисловие превращает переписку Пастернака и Фрейденберг в сценическое пространство, где каждый жест — исторический, каждое слово — жест выживания. Их диалог, растянувшийся на полвека, становится не просто свидетельством эпохи, но её драматургией: Серебряный век, революция, террор, блокада — всё это не фон, а действующие лица. Автор не просто комментирует письма — ставит их как пьесу, где боль и ирония — реплики, а сама история — режиссёр, беспощадно меняющий декорации. Здесь нет придуманных слов, потому что реальность уже достаточно театральна.

Ахматова, Пастернак, Берлин, Пунин, Лев Гумилёв — герои документал, занявших первую часть книги. Их судьбы пересекаются, становятся картами в колоде, которую тасует время. Каждый выбирает свою игру: молчание, неповиновение, иронию, побег в текст. Но уже настаивает: никто не остается в тени, даже если история пытается их стереть. Лагерь, разоренный дом, убийство — это не только биографические детали, а элементы той же драмы, где одни получают скудную роскошь послереволюционного общения, а другие — двадцать пять лет безмолвия.

Переписка Пастернака и Фрейденберг, которая легла в основу первой документальной книги «Фрейденберг, или Сестра моя жизнь» (к сожалению, в книге не указаны первые публикации вошедших в неё текстов, а эта пьеса печаталась в журнале «Знамя»), — не архив, а живая материя, трепещущая под пальцами, как натянутая струна. Здесь каждый знак препинания — разрыв, каждая фраза — акт сопротивления времени, которое не течет, а рушится, обнажая сломанные хронологии.

Серебряный век, террор, блокада в условном жанре документальной пьесы — не последовательность, а одновременность, взрыв, после которого слова остаются висеть в воздухе, как пыль после бомбежки. Автор не расшифровывает, а вскрывает этот текст, как письмо, запечатанное в бутылке и выловленное через полвека: боль и ирония в нём не смешались, а застыли, как слои лавы. История здесь — не контекст, а соавтор, диктующий свои условия, но и письмо — не документ, а оружие, которым бьют по молчанию. Борис. Ольга. Пыль времени. Память.

Эта докудрама — разорванный временем диалог в очередном промежутке между выживанием и творчеством. Здесь революция — не метафора, а повседневность, вьёвшаяся в кожу: университет, покрытый «пылью и тлением», калоши как предмет отчаянных мечтаний, письма, которые становятся спасательными кругами в море исторического хаоса.

Фрейденберг и Пастернак говорят не только друг с другом, но и с самой эпохой, которая то возносит их (докторская степень, первая книга), то повергает во прах («как раздобыть на калоши»). Их переписка — это карта утрат: утраченных связей, утраченных иллюзий, утраченной даже нужды в правде («Боря <...> хватить по голове сторублевкой!»). Но в этом жестоком обмене — между академическим признанием и опорками, между Германией и голодным Петроградом — рождается новая эстетика: искусство не как побег, а как способ стоять в огне, не сгорая.

Фрейденберг пишет о культуре как о религии жизни, но сама её судьба — приговор этой вере. Её монологи в письмах дяде полны яростного неприятия «рыночного производства» Америки, но ирония в том, что её собственная работа становится товаром в советской системе, где «повышение квалификации» требует бюрократических квот, а не таланта. Пастернак, уже ощущающий тяжесть будущей славы, балансирует между ролью спасителя и Хлестакова, между долгом и бессилием.

Их письма — это театр абсурда, где трагедия оборачивается фарсом (золотая цепочка, проданная для возврата «гнилых» ста рублей), а фарс — трагедией («жизнь личности ещё труднее»). Документальность здесь не приём, а единственно возможная форма правды: когда история ломает хребет человеку, только голые факты — о смерти профессоров, о письмах, о некупленных калошах — могут передать её бесчеловечный масштаб. В этом мире даже любовь («горячо её любящего Бори») звучит как эпитафия.

Другой сюжет, уже в эссе второй части книги: Леонид Пастернак пишет Рембрандта, но видит за ним библейского Давида — хрупкого, всклокоченного, с «типичным страстным ртом», который вот-вот разорвет исторический гнет. Его еврейство — не вера, а судьба, долг, даже если он пишет русские пейзажи. Борис же отказывается от этого долга — не из отречения, а из необходимости превратить наследство в иной язык. «Доктор Живаго» — не роман, а тысячестраничный ответ отцу: не полемика, а пересадка корней. Христианство здесь — не догма, а поэтический жест, в котором еврейство не отрицается, но переплавляется, как свиток в огне.

С каждой страницей режим уже не просто фон, а главный персонаж — он диктует ритм жизни, превращая быт в политический акт. Пастернак пишет о «тонком и умном» взгляде власти, но тут же — о «дикости», о «полуразвратной обстановке отелей», где его слава становится травмой. Фрейденберг, с её докторской степенью и розами, внезапно сталкивается с абсурдом: её книгу называют «вредной галиматьёй», а спасительное письмо Сталину — жест одновременно отчаянный и наивный, как попытка договориться с ураганом. Их переписка отныне напоминает переключку сквозь тюремные стены: Пастернак в «чистоте и холоде» тёти Асиной квартиры ищет

спасения от «лжи и радио», Фрейденберг иронизирует над требованием «простого стиля», будто искусство может существовать в условиях, где даже куранты звучат как «тюремный звон».

Трагедия здесь — не только в громких арестах, а в молчании: мать Фрейденберг, пишущая про Бориса «его нет для меня» (не приехал на защиту кузины!), Пастернак, признающийся, что они «практически друг другу бесполезные». Письмо Бухарину, потерявшееся «в корзине», — perfect metaphor для эпохи, где слова теряют смысл, а человеческие связи — ценность. Фрейденберг, с её сарказмом («подписывались именем приговорённого к смерти»), и Пастернак, с его верой в «не названную истину» строя, — два полюса одного выживания. Их диалог — это диалог с самой историей, которая требовала от них одновременно покаяния и чуда.

Ирония в том, что единственное, что их по-настоящему объединяет в 1930-е, — это не любовь, не творчество, а общая «беспросветность судьбы». Читателю, который до этого только краем уха слышал о Пастернаке и Фрейденберг, не всегда понятны мотивы молчания или резких перемен в тональности (например, почему Пастернак долго не отвечал на письма в 1930-е), но композиция создает эффект диалога через время и пространство.

В следующих документах появляются другие герои. Дневниковые записи Пунина, официальные удостоверения, письма Льва Гумилёва и ахматовские стихи становятся театральными репликами, голосами из прошлого, которые звучат в настоящем с почти физической осязаемостью. Здесь нет иерархии между «правдой» архива и «вымыслом» поэзии: строки Ахматовой о «горьких годах недуга» и «туче над тёмной Россией» читаются с той же интонацией, что и сухой бюрократический язык музейных предписаний. Не контрапункт, скорее наложение звуков, где личное и политическое, интимное и историческое сливаются в единый хор. Документ становится поэзией, а поэзия — документом, фиксирующим не факты, но дрожь времени, его невыносимую плотность.

Любовная переписка Ахматовой и Пунина, включенная в пьесу, обнажает еще один уровень этого сплава: частное письмо, изначально не предназначенное для публичности, превращается в литературный жест, в перформанс страсти, где каждое слово — и исповедь, и роль. Пунин пишет: «Ты как стебель, гибкая, раскрывающая губы», — и это уже не метафора, а жест, в котором эротическое и эстетическое неразделимы. Сама форма пьесы, где дневники и письма становятся репликами, подчеркивает театральность жизни: Ахматова и ее окружение не просто живут — они играют самих себя, осознавая, что их слова рано или поздно станут текстами.

Даже революционный Петроград у Пунина описан как декорация: «голодный, развратный, испуганный, выползший, могучий и нелепый», — и эта оптика превращает историю в спектакль, где документы и стихи суть лишь разные способы произнесения одного и того же монолога о времени, которое неумолимо стирает границы между правдой и искусством.

Или документальная драма об Исае Берлине, где диалог в британском посольстве — это спектакль внутри спектакля, каждый знает, что его реплики могут быть использованы против него, но продолжает говорить, потому что молчание еще опаснее. Эйзенштейн, вспоминая сюрреалистический перформанс, поросят в зрительном зале, ностальгирует по анархии ранних революционных лет, но его ностальгия тут же маркируется как политически наивная — ведь «модернизма больше не существует». Сама структура разговора напоминает джазовую импровизацию, темы возникают и исчезают, но основной мотив — страх — звучит непрерывно.

Встреча Пастернака с Берлиным в Переделкино — это разговор не столько между людьми, сколько между эпохами. Пастернак, упоминая Кафку, Джойса, Пруста, будто перебирает священные реликвии, проверяя, жива ли еще мировая культура за железным занавесом. Его вопрос «он жив?» — не просто о писателях, а о самом себе: можно ли остаться живым в мире, где даже телефонный звонок Сталина превращается в сюрреалистический кошмар. Ахматова, появляющаяся сначала как миф («Ахматова? Она жива?»), а затем как реальная фигура в полупустой ленинградской квартире, существует в этом тексте как символ уцелевшей памяти. Ее стихи, вплетенные в диалог, становятся не украшением, а документальным свидетельством — как и жужжание сверла, монтирующего «жучок».

Берлин здесь — не просто собеседник, а медиум, через которого прошлое и настоящее, Восток и Запад, сталкиваются в невозможном диалоге. Даже его башмаки, поставленные на скамью, кажутся артефактом из другого мира, где вещи ещё могут быть просто вещами, а не знаками тайного кода. Вся сцена построена как серия эха: реплики отражаются, искажаются, возвращаются в виде намёков, цитат, пауз.

А в документальной поездке писателей на антифашистский конгресс советские писатели превращаются в актёров, разыгрывающих спектакль с заранее известным финалом. Эренбург, произносящий пафосные речи о «колтуне страстей» и «стройке сознания», сам признаёт фальшь этих формулировок — его настоящие мысли остаются «в стороне», как ремарки в пьесе. Пастернак же, с его «мммммммм», становится живым воплощением невозможности прямого высказывания: его мычание — и протест, и маска, за которой скрывается страх и отчаяние.

Когда он наконец прорывается с криком «не организуйтесь!», зал замирает — не потому, что его слова шокируют, а потому, что они обнажают непримиримый конфликт между искусством и системой. Даже аплодисменты — часть ритуала, механическая реакция на «зубра», которого уже приговорили к роли живого памятника. Пастернак, говорящий о поэзии как о траве под ногами, иронизирует над собственной мифологизацией: он знает, что его «восторженность» — всего лишь удобная для власти версия гения.

Это глухое эхо как знак страшной эпохи звучит и во второй части книги. Переписка Шаламова и Добровольского — не просто обмен письмами, а передача зашифрованных сигналов между зонами. Стихи здесь — не текст, а контрабанда: их читают, как прячут хлеб, передают, как запрещённую записку, а реакция на них — почти физиологическая, как судорога. «Душа» Пастернака становится не поэзией, а инструментом выживания: она расширяет зрачки, сжимает горло, заставляет глотать воздух, будто это не строчки, а глоток кислорода в угарной камере. Даже редакторские правки — «шкурное», «хмурое», «трудное» — не просто цензура, а смена кодов: язык лагеря и язык литературы оказываются разными диалектами одного шифра.

Уже не звук. Уже только письмо. Скучное лагерное письмо.

Шаламов шепчет Пастернака как молитву, — но потом отрекается от него, как от свидетеля, которого бояться вызвать на допрос. Сначала стихи — «живая вода», потом — «трусость». Сначала — «путеводная звезда», потом — «растлевающее зло». Но даже в отречении есть одержимость: он не может забыть Пастернака, потому что забыть его — значит забыть часть себя. Юбилеи, обсуждения, комментарии — все это не ритуалы памяти, а попытки расшифровать следы, оставленные на снегу. Шаламов не хочет молчания — он хочет, чтобы его боль превратили в текст, но текст этот должен быть таким же беспощадным, как колымский лагерь.

Поразительно эссе об отношении к жилплощади Пастернака и Мандельштама. В этом эссе жилплощадь — не просто бытовая деталь, а метафизическая проблема, определяющая саму возможность творчества. Для Пастернака квартира — рабочее пространство, условие для письма, которое он выпрашивает у власти, обещая взамен «актуальный роман». Для Мандельштама — ловушка, проклятие, потому что любое жильё в советской системе требует компромисса, превращающего поэта в «честного предателя». Их стихи — не просто отражение этих позиций, а разные способы сопротивления: Пастернак встраивает быт в поэзию, делая перегородки прозрачными, как свет; Мандельштам разоблачает сам принцип «квартиры», обнажая её как место пытки. Там, где один видит дом, другой видит тюрьму.

Мандельштам — тень, которая «еще отбрасывает тень». Пастернак — тело, соблюдающее режим: купание в Сетуни, чай, работа. Один существует на грани распада, другой — в ритуале самосохранения. Но в 1937 году Мандельштам пишет Пастернаку: «Вы нянчите жизнь». Как если бы Пастернак был телом, которое Мандельштам потерял, а Мандельштам — тенью, которую Пастернак не мог отпустить.

Последнее письмо Мандельштама Пастернаку заклеено, но не отправлено. Надежда Яковлевна находит его и отсылает через восемь лет. В этом жесте — вся их история: слова, которые не доходят вовремя, но все равно звучат. Пастернак напишет «Доктора Живаго», и в нем будет Мандельштам — как неотправленное письмо, которое все же прочитали. Их диалог не кончился, потому что кто-то продолжал его в уме.

Разница между двумя великими поэтами — не в степени таланта, а в этическом выборе, зашифрованном в эстетике. Пастернак пишет о трамваях и электричках как о части общего движения жизни, в котором он хочет раствориться; Мандельштам видит в них знаки надвигающейся катастрофы. Его «бестрамвайная ночь» — это мир, где цивилизация отменена, где даже телефонная книга становится орудием насилия. Если Пастернак верит, что искусство может существовать в любых условиях («теперь и стихи писать можно»), то Мандельштам знает: поэзия — это то, что остаётся, когда условий нет вообще. Его стихи — не о жизни в квартире, а о невозможности в ней жить.

Пастернак пишет Крючкову о «фанерной тонкости» стен, сквозь которые проникает чужой шум, — и тут же превращает эту жалобу в стихи, где перегородки становятся «тонкоробостью», сквозь которую проходит свет. У Мандельштама те же стены — «проклятые», но не потому, что тонки, а потому, что их вообще не должно быть: он не жилец, а пленник, для которого квартира — клетка, а не убежище. Пастернак просит комнату, чтобы писать; Мандельштам получает комнату — и понимает, что за нее уже заплачено стихами.

«Нам кажется, что всё благополучно, только потому, что ходят трамваи» — эта обращенная к Надежде Яковлевне фраза Мандельштама на остановке становится ключом к его поэтике: трамвай у него то убежище («трамвайная вишенка»), то орудие смерти («Мы с тобою поедem на “А” и на “Б” / Посмотреть, кто скорее умрёт»). У Пастернака электричка — связующее звено между дачей и городом, между уединением и народом. Для одного трамвай — последний признак цивилизации, для другого — расписание, которое можно соблюдать.

Мандельштам мыслит соборами, улицами, городами — его стихи строятся как купола, даже когда пишутся в «московском злом жилье». Пастернак встраивает быт как сад: дом, дача, электричка — всё должно работать на стихи, но стихи не обязаны работать на дом. Один мечтает о печке, но живёт в «бестрамвайной ночи»; один высекает стихи из камня, другой сажает деревья, зная, что они переживут его.

Их переписка — это диалог двух форм исчезновения: катастрофического (Мандельштам) и эволюционного (Пастернак).

Различие двух поэтов — в отношении к дару и долгу. Пастернак, с его верой в оправдание жизни через творчество, ищет компромисса с эпохой, надеясь, что роман, написанный в выделенной комнате, станет искуплением вынужденных уступок. Мандельштам, напротив, видит в любом компромиссе предательство языка: его стихи — не «про жизнь в квартире», а вопль из-под её «проклятых стен», отрицающих саму возможность уюта в «преступные дни». Если первый спасает культуру, встраивая её в советский быт, то второй — бескомпромиссный хранитель её трансцендентной сути — гибнет, но не позволяет слову стать частью интерьера. Не просто два взгляда на поэзию, но два ответа на вопрос: может ли искусство выжить, не перестав быть собой?

Пастернак умирает в Переделкине, у открытого окна; Мандельштам — в пересыльном лагере, без могилы. Но ещё раньше Живаго умирает на трамвайной остановке — как будто Пастернак предвидит конец Мандельштама, который так и не смог «просвистать жизнь скворцом». Разница не в том, кто из них «правильнее» умер, а в том, что один мог вообразить смерть другого, а другой — нет.

История литературы для Натальи Ивановой — это не хроника, а сеанс спиритизма. Мертвые говорят — в письмах, в поправках к рукописям, в случайных репликах, застрявших на полях. Исследователь лишь медиум, который ловит их голоса в «шум внутренней тревоги». Турбин, Павлова, Ростопчина — они не «прошлое», а сгустки недоговоренного, что продолжает звучать в сегодняшнем сумраке. Писать о них — не значит анализировать, а значит впустить их в сегодняшний разговор, дать им перебить друг друга. Книга, построенная как диалог документов и воображения, — не исследование, а серия сеансов: вот Бялик упрекает, вот Леонид Пастернак рисует портрет, вот сын вычеркивает слово «еврей» из своей биографии. Все они говорят одновременно, и только от нас зависит, услышим ли мы в этом хоре не спор, а полифонию.

Синявский, читающий Пушкина в Дубровлаге, последний герой послесловия — не аллегория, а инструкция по выживанию. Его эссе о Гоголе, написанные на промерзлых нарах, — не бегство от реальности, а ее преодоление: ирония становится броней, а литература — единственным языком, на котором можно говорить правду, даже если ее зашифровывать в «тонких эротических ножках». Эта книга — такой же акт сопротивления. Вместо того чтобы навязывать прошлому свои нарративы, автор дает ему расколоть настоящее, как письмо Шаламова раскалывает лед колымской цензуры. «Своею жертвой путь прочертишь» — эта строка, вырванная из забытого стихотворения, могла бы стать эпитафией ко всей работе. Здесь нет побежденных — только те, кто, проиграв, продолжает диктовать условия игры. Благодарность в конце — не риторический жест, а признание: мы говорим их словами, даже когда нам кажется, что слова наши.

Кирилл Ямищиков

Отщепенцы удали

Странное дело: роман, предлагаемый читателю как старая, добрая, твердая и всё ещё научная фантастика, не оказывается ни первым, ни вторым, ни третьим и даже ни четвертым. Веркин издевается над жанровыми нарративами так же, как издевался — совсем недавно и крайне убедительно — над священной коровой Боллитры: «снарк снарк», этот сплошной метод-в-разрезе, напомнил, обозначил мечты и намерения, после чего отворил дверь в будущее. «Сорока на виселице», сообразно плану, это будущее развернула, озвучила, придавила челюстями пресс-папье.

Далекое светлое завтра человечества: болезни оставлены, конфликты упразднены, денег навалом, здоровье нерушимо и каждый, по сути, счастлив. Колонизированы планеты, изгуляны галактические окраины, достигнуты пределы. Но что дальше? Верно: покорение абсолютного пространства, ни много ни мало — целой, черт её дери, Вселенной. Трудятся над этой задачей синхронные физики, господа то ли полезные, то ли болезные. За кучу лет — никаких прорывов. Вот и доходит до того, что на планете Реген собирается Большое Жюри.

Само Жюри представлено двумя сторонами: академической паствой, умнейшими-точнейшими профессионалами откуда только можно и, напротив, обыкновенными работягами, людьми случайных реноме и недолгих фантазий. Одним из них оказывается Ян — человек, глазами которого мы и разглядываем цивилизованную вампуку будущего. Повествование в романе ведется от первого лица (то же самое мы наблюдали и в двух предыдущих), крутится-вертится около рассказчика и неминуемо спотыкается о его же, рассказчика, *minority report*¹.

«Мир меняется. — Уистлер почесал головоломкой подбородок. — В шестнадцатом веке началось очередное вымирание видов, продолжавшееся до двадцать второго. Сумчатые волки, стеллерова корова, дронты, электрические рыбы, птицы, летучие мыши, вымерло огромное количество существ, вурдалаки вполне могли быть среди них. Никакой мистики — один из исчезающих подвидов хомо, окончательно вытесненный более удачливым конкурентом.

— Да здравствует эволюция! — объявила Мария. — Не хотелось бы встретиться с вампиром.

— Эволюция — капризная особа... — задумчиво произнес Уистлер. — Кстати, некоторые считают, что эволюция — исключительно планетарный феномен... Но сам я так не думаю, я не сомневаюсь, что и пространство формирует нас, перекраивает под себя. Кстати, физиологи утверждают, что смерть имеет накопительный эффект».

Помимо рассказчика в романе есть и другие любопытные особи: вышеприведённые Уистлер и Мария, Штайнер, Кассини, Шуйский. Вместе с ними Ян должен

Эдуард Веркин. Сорока на виселице: Роман. — М.: Эксмо, InSpiriTa, 2025. — 512 с.

¹ Особое мнение (англ.).

поучаствовать в работе Большого Жюри и определить ценность синхронной физики (и её проекта) для всего мыслящего человечества. Путь на Реген сопровождается восьмью смертями (все достаются Яну, так как в здешних порядках нужно кончаться, умирать и воскресать обратно, чтобы жонглировать межзвездными перелетами) и внушительным скепсисом: что есть наука? Каковы надежды? Можно ли остановиться на достигнутом? Существует ли бессмертие на самом деле — и насколько безопасно оно для тех, что дышат и верят погибелью?

Вот, собственно, звездолетом «Тоший дрозд» и филиалом Мельнбурнского института Пространства действие романа и ограничено. Камерная, как заметили многие читавшие, история. Весь масштаб — и все перспективы — разворачиваются уже в головах собравшихся: там — друзья-подруги, и ужаса прорва, и веселья, и неясных алхимических озарений. Шпигуются монологи — Эдгаром По, трактатами по эстетике, латынью, детскими воспоминаниями (ах, как оно было в лучах закатного прогресса), байками из склепа и прочей романтикой. Самые занятные размышления принадлежат Уистлеру; остальные, кажется, только подыгрывают буйству его риторики.

«Тайные общества были весьма популярны в прошлом, — рассказывал Уистлер, дымя папиросой. — Потом, конечно, они вымерли... деградировали в клубы по интересам. Но освоение космоса могло вдохнуть в эти институты новую жизнь... У меня на этот счет есть своя теория, я убежден, что человечество непредвиденно резво вышло в межзвездное пространство, знаешь ли. Слишком резкий и качественный рывок — поклон Сойеру и товарищам. Мы должны были терпеливо обживать Солнечную систему, триста лет ползать от Меркурия к Плутону и обратно, карабкаться на Эребус и ковыряться в Томбо Регио. Но мы не стерпели, мы отправились к звездам. А тут всё оказалось для нас не готово, сад не процвел... Поэтому человечество... человечество как организм... реагирует на космос весьма причудливым образом — тайными обществами нигилистов, массовыми психозами, эмиграцией...»

«Сорока на виселице» развивается внутри нарочитой вопросно-ответной структуры; одни предлагают своё, другие отметают, кто-нибудь ещё хихикает в сторонке и коверкает смыслы. Дуэли пространственных споров и конфликтов, не приводящих — фактически — ни к чему действенному. Веркинский «снарк снарк» обходился намёками и не давал читателю сюжета, того, за что внимание могло бы зацепиться и помчаться в тартарары; «Сорока» так же обходится экспозицией, затравкой, хитростью, но не приводит этих человечков и эти коллизии к разумному итогу, к тому, что мы, как водится, сопровождаем читательским удовлетворением — все пиньяты сбиты, злодеи наказаны, а загадки раскатаны в блинчики.

Этого, к сожалению, в романе нет.

Фабульными интересами он походит — сразу — на несколько важнейших научно-фантастических текстов: тут у нас и прямые переключки с «Солярисом» Станислава Лема (замкнутая диалектика, параноидальный триллер, столкновение с пределом человеческих возможностей — и, стало быть, тотальным людским бессилием перед лицом чего-то *Более Крупного*), и с «Ложной слепотой» Питера Уоттса (вампирические мотивы, тезисная дерзость, крутой, навороченный лор), и с «Пятой головой Цербера» Джина Вулфа (гуманитарный лоск, заходы в Набокова-Джойса, эксперименты с памятью, ностальгией), и с «Игрой Эндера» Орсона Скотта Карда (последовательное увеличение масштаба, возрастающие риски, под конец — и вовсе резкий слом интонации, притча и воздушный бисквит прорицаний).

Роман Веркина синтезирован, крепко сбит и сообщает очень многое — закономерно не останавливаясь ни на чем конкретно. Перебирая в руках сюжетные формуляры (можно начать так, а продолжить эдак), руша известное и достраивая малоизученное, Веркин делает, по сути, концептуальную антологию, внутри которой

собралось и не всегда хорошо друг с другом соседствует несколько одиноких пугливых книжек. Благо, объём позволяет: увидеть всё по существу и, если хочется, заикнуться на отдельном пассаже, как бы невзначай подобранной мудрости. Особенно это заметно в речи самого Яна — вскипающей, несмотря на контексты, довольно симпатичными туманностями («это осень, скорая осень, библиотекари заранее чувствуют осень, им положено»).

Продолжая баловаться компаративистикой, упомяну ещё одного писателя, с методом которого «Сорока на виселице» соотносится крайне весело. Это Сэмюэль Дилэни, ещё более яростный, чем упомянутый автор «Пятой головы Цербера», чудотворец речи, канатоходец Тибул: очень любящий языки, поэзию, гуманитарную насыщенность авантюры и вместе с тем обманывающий, глумящийся, лукаво предающий собой же возделанные ожидания. Я говорю не о самых его авангардных (и как мне думается сейчас, переоцененных) вещах по типу великанистого «Дальгрена» или рассказа «Время, точно низка самоцветов», но о раннем триумфе — повести «Баллада о Бете-2», рассматривающей акт словотворчества как самостоятельный и даже зловещий метод познания.

Веркин говорит с Бездной как с товарищем из клуба по интересам: долго, сбиваясь на повторы, самокопание, но неизменно добывая из этого разговора что-то важное, гулкое, самоценное. Этакая «Похвала глупости», запрятанная в каркас большого космического путешествия. Хотя, наверное, больше здесь подходит другой возрожденческий императив: диалог Лоренцо Валлы «Об истинном и ложном благе», где человек пишущий — Демиург, Демагог — бежит за добродетелью, буквально выискивает у неё аудиенции, отмечает ненужное, поверхностное, чтобы добраться наконец до первопричины собственного желания, первопричины человеческого *хочу*.

Роман Веркина ставит во главу угла сомнение: нужно ли добиваться и превозмогать, когда мы нашли своё и успокоились? Нужна ли эта бесконечная шутка познания, если у нас и без неё всё довольно неплохо? Обходиться смертью, воскресать, испытывать допотопные чувствешки, городить несуслаицу; оставаться людьми даже в Утопии, не порывать с многожды одурманенной традицией. Если что-то и интересует Большое Жюри по-настоящему, то, конечно же, эта многоголосица: рваться вперед, стоя на месте, увязать в болоте, сверкая полетом шмеля. Мысль, выраженная ещё в самом начале — на пятидесятой странице:

«— Пространство должно быть загадочно, — зевнула Мария. — Если оно не враждебно и не загадочно, — зачем его одолевать? Плата за звездный билет — ежедневная смерть, только так человек понимает подлинную ценность космоса... Если что, это не мои слова.

Я вспомнил изъеденных гнусом искателей Гипербореи и подумал, что в этом есть смысл — люди любят преодолевать».

Как отметил сам писатель, этот роман — «не фантастика, а новый футуризм»¹, и, кажется, лучшего определения для «Сороки на виселице» не подобрать. Громадный вызов — мыслью, духом, сознанием — всему, что так или иначе подтачивает человеческое благородство, заставляет его проигрывать давно известные сценарии усердия. Всё, конечно, звучит гордо, но ровно до той поры, когда перед глазами обозначается подлинная дистанция — между достигнутым и возможным, между желаемым и желанным. Мир слишком неподатлив даже в Утопии — и всюду пользуется той брешью восприятия, что заложена в каждом из нас изначально (вот этой любовью к преодолению, созиданию и деланию).

¹ Человек и бездна. Беседа с писателем Эдуардом Веркиным // Мир фантастики. 29 марта 2025 г. (Дата обращения: 08.04.25).

«— Но это странно, ты не находишь, Ян? Печаль... Мы живем в великую межзвездную эру и печалимся, как в эру чахотки, угля и сплина. Как думаешь, почему? Почему мы не изменились, Ян? Почему мы слишком похожи на них?

— Мы не похожи на них, — возразил я. — Мы другие».

Борьба противоречий, поколенческая убежденность в собственной правоте — дескать, раньше неправильно, а теперь правильно, — что это, как не переходящие из контекста в контекст элементы слишком человеческого, отчаянно предсказуемого? «Сорока на Виселице», вдохновленная — или, скажем загадочней, *спровоцированная* — одноименной картиной Питера Брейгеля Старшего, ставит вопрос, от которого не избавиться: есть органика и понятные значения, но почему среди них обязательно восстает невозможная фигура, пригревшая, между прочим, живое, горластое и пернатое? Мы обязаны свыкнуться с хронологией, классическим примордиальным раскладом, но всё ещё пытаемся ухватить Бога за бороду и прыгнуть выше головы. Герои веркинского футуризма теряют жизни, рассудки, ориентиры, и заканчивается книга привычным ожиданием чего-то *Более Крупного*: может, загадочного фермента ЛС, что спасет и преобразует?

Читая «Сороку на виселице», мы — пускай и не сразу — обнаруживаем себя посреди застывшего чаепития, где и чашечки, и ложечки, и тарелочки одинаково бесполезны. Важна лишь ржавая стрела часов, забывшая о порядке. На кромке, краюхе земли, называемой фантастикой, выдумкой, интеллектуальной ламентацией: там, где всё слишком безалаберно и хаотично, Эдуард Веркин предлагает нам поразмышлять о человеке, который преодолевал, преодолевает и будет преодолевать; и о мире, который однажды потеряет терпение. Выйдет ли это размышление увлекательным, душеспасительным? Всяко, товарищи, удивитесь. Талантливей и ярче у нас пока всё равно не пишут.

Павел Пономарёв

«Папа и я, за нами Пинега»

Кажется, сегодня никто еще не сказал о войне так, как это сделала Варвара Заборцева — спокойно и мирно. Где Север (Пинега — это Архангельская область) и где Юг? «Радуйся, что знаешь дорогу в такие места, где ни одной пули не летало». При этом ее повесть совершенно ясно дает почувствовать, с какой демонической силой война уничтожает живое, разобщает не только народы, но и близких людей. Например, отца и дочь.

Главная героиня (она же повествователь) и ее отец — люди родные, но далекие. Им трудно понять друг друга, но что еще страшнее — принять: «Пришло какое-то странное время, когда никто не понимает, что происходит, но у всех какая-то *позиция*. У нас с папой она оказалась разной».

Отец, отставной офицер, желавший возродить свой край, уходит добровольцем — и не возвращается.

Отец был охотником. Только стрелять теперь надо было не в птицу живую, а в птицу железную — дрон, созданный человеком. И кажется, это страшнее: у природы есть инстинкт самосохранения (хотя «утки не стреляют в ответ»), у машины — нет. Запрограммированный механизм. Что скажешь, то и сделает. В том числе — выстрелит в ответ.

Они «услышали друг друга», но «все равно продолжили идти со своей правдой». Дочь против того, чтобы брать в руки оружие. «Фотография эта (героиня держит ружье, из которого ее учит стрелять папа. — П. П.), и дерево, в которое мы выстрелили в упор». Дерево, конечно, — тоже живое. Дочь это понимает и пытается оправдать — только скорее не себя, а папу. «Наверное, какие-то выстрелы можно оправдать. Просто у меня не получается».

Признается: при жизни папы ни сама, ни другие не прочитали его предвыборную программу. Он баллотировался в главы поселка — третий раз и вновь безрезультатно: «Тогда у папы снова ничего не вышло». Может, потому и не вышло, что даже близкий человек отказался интересоваться жизнью другого близкого человека? А прочитала лишь теперь — когда уже было поздно.

Перешагивая через боль собственной трагедии, Варвара Заборцева пишет повесть. Как уже ясно — во многом автобиографичную. «Пинега» — это еще и поэмой отца.

Героиня приезжает на похороны — на их общую, как сейчас говорят, малую родину. Здесь и происходит символическое примирение.

Примиряет смерть.

Это не просто страшно — непоправимо.

Чтобы рассказать об этом, требуются мужество и смелость.

Проза Заборцевой (вспомним и предыдущую ее повесть «Марфа строила дом») собрана из символов — символов-действий, символов-предметов.

В ожидании похорон героиня моет сервиз — после похорон всегда наступают поминки. Одной пары в сервизе не хватает — как на поминках не хватает того, кого поминают.

«Как же зыбко все под ногами, будто не так ступлю — и все, до самой земли провалюсь», — действительно, где еще, как не на кладбище, осознается так ясно зыбкость существования?

«Не разговариваю и не плачу, просто сплю...» Жизнь есть сон? От реальной, случившейся в действительности смерти уйти в идеальную жизнь — туда, где «все еще живы», — это не эскапизм, это наиболее приемлемый выход, возможность пережить боль. Другим спасением становится «нестерпимое желание вспоминать». А затем — «что-то записывать, на одну память нельзя надеяться».

Предполагаю, что текст так и появился.

Пост героини о гибели отца, опубликованный на личной странице в соцсетях, прокомментировали триста человек. И тогда она откровенно признается самой себе в том, что происходит: «Люди теряют людей». Конечно, и раньше все понимала, но признаться в этом — самой себе — боялась. Она представляет себя «за одним столом со всеми женами, матерями, дочками, сестрами, сослуживцами, земляками...», и стол становится одной большой рекой — «без конца, до самого моря» (к реке мы еще вернемся). И снова засыпает.

Вторая глава, после идиллического описания времени, проведенного с папой, начинается контрастно, неожиданно и стремительно — как выстрел: «Новость о том, что папу убили, я узнала в поезде». Дочь получает известие о гибели отца, а в это время

за окном проносится зелень. Стремительная, неудержимая зелень — символ жизни, которая всегда ходит рядом со смертью, но никогда не заканчивается («...Это — бурлящее, грязное — все равно расцветет. Правда, сейчас мало верится»). Отец гибнет в поле: «это был не бой, просто человека подстрелили в поле, через экран». И это последнее и окончательное слияние с землей, с природой — тоже символично.

Фотографию в поле — в южном, просторном и смертоносном поле — отец перед гибелью отправляет родным.

Черной линией тема смерти проходит через всю повесть, но не делает текст мрачным. Нет угнетающей тяжести при ожидании гроба с телом отца, во время похода на кладбище для выбора места под могилу, в описании похорон и поминок. Случившееся непоправимо, но автор оставляет себе и читателям надежду и ощущение продолжающейся жизни. После дня похорон отца наступает день рождения дочери.

«Опять про охоту, про уток и выстрелы, кому-то опять не повезло, но все обязательно вернется, и кто-то не прощается, говорит, встреча не за горой, и весной возвращаются утки, погода, надежда, тепло друзей, и, значит, жить будем». Есть в «Утиной охоте» при всей минорности мотива нечто обнадеживающее; да что там, ведь, действительно, так и поется — однозначно: «Все вернется, а вернется — значит, будем жить!»

Время ускоряется, когда назначают день похорон: если до этого в одной главе умещался один день, то теперь — сразу три (глава «Дни четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый»). словно противясь ускорению, оттягивая неминуемый день, героиня сбегает туда, где все «вроде бы по-прежнему»: в дом другой бабушки (до этого все дни проходят в доме матери отца). Но все равно возвращается — не может не вернуться. Должна. (Мотив возвращения — только не вынужденного, а необходимого — усиливается в финале повести: «У всех есть такие места, где обязательно нужно быть. Если не все время, то хотя бы возвращаться».)

Панихида похожа на митинг: гроб оцепили «мужчины с автоматами»: «Не давали обойти гроб *как положено*, как всю жизнь прощались на Пинеге. Люди шли и шли, а мужчины их разворачивали и разворачивали — у них *так положено*».

После похорон — поминки. Единственное в поселке кафе, где застолье — только по заказу. Юбилеи и поминки здесь чередуют друг друга. А пока идет траурная трапеза, с крыши с грохотом сходит снег. И это тоже напоминание о том, что жизнь не кончена (и не конечна), что за зимой — весна, за весной — лето... Хотя в такие минуты в это особенно трудно поверить. Героиня просто максимально безэмоционально фиксирует все, что в этот момент происходит с ней. *С ней*, но не *в ней*, — она как будто закрывается от мира, от посторонних глаз: это ее личная трагедия и ее печаль. Все уже случилось. Остается только принять. Поэтому ритм повествования — выверенно-четкий, но при этом спокойный. Само повествование — конкретное, без надрыва, лишних деталей и погружения. Порой и вовсе напоминает репортаж: фактографически точно автор фиксирует каждое действие, событие, воспроизводит речь своих героев (в числе которых сама). Поэтому в тексте так много глаголов: «взял», «просила», «промолчал», «выпили», «думала», «сказала», «принесли», «пропели»... И почти все — в прошедшей форме. Автор будто «на автомате» описывает все, что вокруг происходит. Может, потому что эмоций (и сил) уже не осталось (хотя признается, например, что после похорон упала в подушку — навзрыд, и никто из родных не осмелился подойти, пока слезы не кончились).

Заборцева рискует, сопрягая художественный текст с репортажным нарративом, но нельзя забывать о том, что история эта — реальная и глубоко личная. И автор не боится открыть ее публике. «На фотографии папа и я, за нами Пинеге» — лаконичный ответ на вопрос «про что повесть?».

Татьяна Веретенова

«Один из многих голосов»

Сборник Александра Соболева, состоящий из четырнадцати рассказов, важно начать читать с аннотации, подсказывающей, что количество рассказов соотносится с числом сонетных строк, а в качестве их заглавий автором (Соболев — специалист по Серебряному веку) взяты строки из лирики Фета, Анненского, Блока (это так, но не совсем). Строки никоим образом не рифмуются, но рифмы можно обнаружить внутри самих рассказов, и об этом позже. Четыре эпиграфа: здесь и Третьяковский, и Пушкин, и старая (дореволюционная) книга анекдотов «Знаменитый еврейский шут Гершко из Острополя», и литературовед Лидия Гинзбург — вот в такие литературные и смысловые координаты автор помещает свои тексты (далее у рассказов отдельных эпиграфов не будет).

Обратим внимание на слова Гинзбург: «Автор что хочет, то и делает». Учитывая это напутствие, посмотрим, что же делает автор.

Автор пишет всяко: и серьезно, и иронично, и откровенно развлекаясь, создавая пространство разнообразия жанровых и стилистических вариантов, загадок и игр. Литературные забавы профессионального филолога чем-то напомнили прозу Евгения Клюева, атмосфера некоторых рассказов сродни роману «Андерманир штурк». Тематически рассказы Соболева разноплановы, но, что гораздо важнее, они не то чтобы странные, но странноватые. Их как-то нелепо было бы называть «текстами с элементами фантастики», скорее — рассказы с чудинками: анекдоты и курьезы, ситуации странные и нелепые, необъяснимые и даже загадочные, смешные и грустные. Да и герои большинства рассказов как на подбор чудаки. Повествователь в рассказе «Звериный человек» именно об этом и говорит: «Я вообще люблю чудаков всех мастей, и они, что называется, ко мне льнут. Мне хотелось бы думать, что и я сам, немного выбиваясь из общего ряда, притягиваю их к себе по принципу подобия, но, скорее всего, здесь сказывается глубинная российская веротерпимость к непохожему».

Соболев часто использует прием, когда в одном рассказе склеиваются две разные истории — просто идут одна за другой, иногда со сменой рассказчика, иногда нет, или же читаем рассказ в рассказе. В «Скудной земле» сначала простоватый и несколько занудный Арви подробно рассказывает о поиске и сборе в финских лесах ветровых гнезд, о том, что это такое и зачем нужно, а потом он пересказывает историю человека, которому довелось работать фельдшером в швейцарской клинике, о том, как он получал «почти наркотический эффект от помощи другим», однако его определили в «смертную команду» — группу, которая занималась эвтаназией пациентов, и вот однажды двойной смертный коктейль не сработал... В рассказе «В горячей духоте вагона» повествование поначалу идет от лица одного из четырех пассажиров купе, по речи — человека явно интеллигентного и внимательного, а затем его сменяет

эмоциональный рассказ напуганного проводника («Вы, конечно, хотите знать, что произошло? Да, привидение я увидел, вот что»), который начинает с самого своего детства: «Родился я в Ельце...» Длинный рассказ повествователя о велосипедной прогулке из Иерусалима в Модии (явно в наши времена: по пути попадаетесь шкаф для буккроссинга) в «Зверином человеке» сменяется рассказом встреченного им на дороге старика (сидевшего на большом коричневом валуне, от которого разбежались дикобразы) про некоего Феодула Ивановича, который родился и учительствовал в Тверской губернии (чуть ли не в XIX веке — вот оно «автор что хочет, то и делает!»), и очень любил зверей — и домашних, и лесных, и о его паломничестве в Святую Землю. Единственная детективная история (впрочем, тоже курьез) — «Холодный сумрак тих» — выстроена в форме монолога молодого полицейского-кинолога, навещающего в родном городе бывшую школьную подругу, муж которой арестован в связи с внезапным нападением на незнакомого женщину.

«У Оловянной реки» — серьезный и трогательный (и опять-таки не без иронии) рассказ про семидесятилетнего деревенского философа Грику, который «сохранил свой мыслительный аппарат в его первобытной чистоте и силе» и, хотя носит совсем ветхую одежду, «ни сам он, ни его жилище не производили впечатления обиталища человека опустившегося: так, может быть, выглядела хижина Генри Торо, но не логово клошара». В рассказе описана ситуация на рыбалке (время нынешнее) в восприятии Грики, восприятии на редкость благостном и благодарном, «созерцательный его характер был чужд всякого прагматизма». И основным приемом изображения реальности становится остранение, а невинность видения персонажем реальности создает щемящий эффект. Помилование незамеченное и помилование осознанное — «Капитанская дочка» (она, кстати, упомянута в другом рассказе) в миниатюре. Признаюсь, для меня именно отрешенный и благодарный существованию Грика — самый привлекательный герой в сборнике. «Бытийные» мотивы возникают в нескольких рассказах, причем как-то между делом — ремаркой появляется, например, фраза: «...У каждого из нас бывает такая мысль: а что мы в жизни сделали хорошего?»

Наткнувшись на предложение: «Когда вспоминаешь своих погибших ровесников, тебя охватывает странное, отчасти завистливое чувство...» («Тихо, холодно, темно»), решила выяснить возраст автора. Оказалось, что ровесники у нас с ним общие (как, впрочем, и *Alma Mater*). Тем любопытнее: к авторам своего поколения — с особым вниманием. Наиболее поколенческий (и отчасти ностальгический) из рассказов сборника — «Старая земля, новый колос» — о том, как спустя более 30 лет после окончания школы пять участников музыкальной рок-группы старшеклассников «Крылатый гость» вновь собираются (по прихоти одной звукозаписывающей компании), чтобы записать после нескольких репетиций студийный диск. Соболев показывает вполне правдивые варианты судеб ровесников, кстати, чтобы лететь в родной Энск, некоторые из них садятся в Москве в самолет «Сергей Брюхоненко» (назван именем физиолога, проводившего опыты по искусственному оживлению организма). А ведь основная идея рассказа может быть понята как сохранение сквозь годы и оживление (один из героев действительно оживает непонятным образом) той музыки (во всех смыслах), что звучала в юности. И такими созвучными сюжету деталями-подсказками Соболев плотно насыщает свои рассказы. Очевидно, что мне удалось заметить и рассмотреть лишь некоторые, и каждое последующее прочтение (да, «Сонет» — это сборник для многократного перечитывания), надеюсь, подарит новые смыслы, детали и разгадки.

Вспомним, что аннотация предупреждала: «Рассказы “рифмуются” между собой».

Есть персонажи, кочующие из рассказа в рассказ, обитающие в общем художественном пространстве сборника.

Лидирует фокусник-гипнотизер Сильверсван Грамматикати: он упоминается в рассказе проводника Виктора («В горячей духоте вагона») — хотя по сюжету он здесь не особо нужен, но презентация его метода может дать подсказку для разгадки детективной интриги в «Холодный сумрак тих», где он становится значимым персонажем. И еще он присутствует эпизодически в «Бесконечной жажде у кромки воды» (то есть оказывается, что он выступал ещё в начале 80-х).

Неоднократно упоминается такое место действия, как Музей-квартира художника Мафлыгина (кто бы он ни был) — в «Игре лучей» и в «Тихо, холодно, темно» (именно туда Дормидонт отправляет коров на экскурсию).

Дважды в рассказах встречается гардеробный номерок 29.

Невыразимо красивая и небывало невежественная героиня рассказа «Тихо, холодно, темно» оказывается бывшей женой уже знакомого нам проводника Виктора из рассказа «В горячей духоте вагона».

Журнал «Новое слово» (и его редактор Виктор Владимирович Столбовский) — в центре повествования в рассказе «Мы забываем о деревьях», и как раз этот журнал «почитывает» герой следующего рассказа «Небо дурных предчувствий» Васильев.

Американский музыкант, главный герой предпоследнего рассказа «Бесконечная жажда у кромки воды», упомянут и в рассказе «Ещё страшней, ещё огромней»: «...Раритетные виниловые пластинки с записям Джи-Джи Аллина». А вот американский певец, который выступал в клубе железнодорожников («Холодный сумрак тих») явно не Аллин (как можно было бы подумать), ведь действие происходит в нынешние времена (уже полиция, не милиция) и в июне, а Аллин приезжал в СССР в январе 1983 года.

Поэтичные названия рассказов несколько условны, но зато отдельное удовольствие озадачиться их происхождением, перебирая в памяти и перечитывая лирику рубежа XIX—XX веков. Из четырнадцати, признаюсь, при первом прочтении смогла опознать лишь некоторые (какие-то строчки давно знакомы, у других автор угадывается по ритмике), но далее искала в интернете. «Игра лучей» — из «Трилистника осеннего» Иннокентия Анненского («Бывает такое небо, такая игра лучей, что сердцу обиды куклы обиды своей жалчей»). «Скудная земля» — это Ахматова, это с детства знакомое «но всё мне памятна до боли тверская скудная земля», так как по малолетству часто бывала в Бежецке. «В горячей духоте вагона» — Пастернак тоже легко угадывается, но название стихотворения — «На ранних поездах» — пришлось искать. Далее, «У Оловянной реки» — это Гумилёв, «Мужик» (рассказ, кстати, перекликается со стихотворением). «Тихо, холодно, темно» — очевидным образом Блок, «Как растёт тревога к ночи!..». Далее были обнаружены Цветаева, Заболоцкий, Фет, Анна Радлова, Константин Вагинов, еще пару раз Блок и еще разок Анненский (в общем — читайте, ищите, развлекайтесь). Среди этих поэтических названий, кажется, затесалось одно из другого времени, точнее, автор его туда специально затесал, судя по всему, на потеху внимательным читателям. Название рассказа «Бесконечная жажда у кромки воды», похоже, из текстов металл-группы «БАУ». Такое вторжение в оглавление совершенно инородной строки отлично отражает ту курьезную ситуацию, что стала сюжетом этого самого ироничного в сборнике рассказа. В январе 1983 года в Москву из США прилетает некий Кевин Майкл Аллин, лидер американской рок-группы. Его приезд был реализацией установки для атташе по культуре в Нью-Йорке «найти какого-нибудь бунтаря с гитарой, причем по возможности пролетарского

происхождения и не слишком волосатого», а Аллин как раз «был лыс как коленка». Вновь используя прием остранения (история дана с точки зрения приглашенного), Соболев показывает несовпадение представлений и ожиданий, предельную инаковость (и даже уязвимость) американца той атмосфере позднесоветской Москвы, где он оказался: «...Привыкший чувствовать себя главной угрозой окружающим, он совершенно терялся в новой обстановке, словно смертельно опасная тигровая акула, вытасненная на берег». Он несомненно был «американцем, поэтом, бедняком и бунтарем — но при этом личность его категорически не совпадала с ожиданиями».

Сюжеты условны, концовки открыты. Отдельное развлечение при чтении — домыслить, как название рассказа соотносится с содержанием. Так, в «Тихо, холодно, темно» три наречия могут соотноситься с характерами трёх героев: повествователя, его знакомого и девушки, к которой они приезжают в гости.

Знакомого, «похожего на лешего из русской сказки», зовут Дормидонт (а кот у него — Кьеркегор). Есть ещё Грик, Феодул, Никодим (про него обещают рассказать, но он не появится). Имена персонажей у Соболева тоже участвуют в создании интертекста. В рассказах с перекликающимися названиями возникают собаки по кличке Варгас: так зовут служебную собаку из рассказа «Холодный сумрак тих» и толстого белого пса из «Сладкого сумрака», — разные сумраки, разные собаки, но имя одно. И оно неслучайно: это фамилия художника из Коста-Рики, что когда-то привязал к стене художественной галереи бездомного пса (которого не кормили), а посетители должны были наблюдать страдания животного как арт-объект; пёс то ли сбежал, то ли погиб, но ситуация вызвала волну общественного возмущения. Однако номинация-изюминка в сборнике Соболева, это, конечно, уже упомянутый Сильверсван Грамматикати. Имя этого, напомним, фигурирующего в нескольких рассказах фокусника-гипнотизера, как выяснилось, не выдумка автора. Возможно, кто-то вспомнит художника шведского происхождения Адриана Карловича Сильверсвана (он писал свои пейзажи в одно время с Левитаном и Коровиным). Так вот, его сестра Александра, врач, и была в замужестве Сильверсван-Грамматикати. Фокус незамысловатый, но эффектный.

Соболев почти всегда показывает некий вектор финала, дает возможность читателю додумать, дофантазировать, завершить историю в своем воображении. Из-за разнообразия повествовательных манер в какой-то момент может оказаться непростой задачей уловить голос автора, каждый рассказ от первого лица воспринимается как стилизация. Но впечатление это обманчиво. В финале рассказа «Рум-рум» Александр Соболев чётко обозначает свою позицию демиурга и одновременно дистанцируется от героя: «Как поступит он сам — бог весть. Все-таки я ему не сват, не брат и не сторож, хотя до некоторой степени всё это сразу: он просто один из многих голосов, звучащих в моей голове, — и ныне ему предстоит умолкнуть. Я оставляю его — не сказать чтобы с легким сердцем, да и уж точно не в лучшие минуты его жизни, но совесть меня не мучает: я сделал для него все, что мог, и дальше он должен уже выкарабкиваться сам».

Ольга Балла

Важнее литературы

Владимир КОРКУНОВ. Я говорю: Беседы со слепоглухими людьми о жизни, творчестве и силе духа. — М.: ЭКСМО, 2025. — 224 с.

В новой книге интервью поэт, журналист, сотрудник Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» Владимир Коркунов продолжает — углубляет, уточняет, усложняет, проблематизирует — работу, начатую в вышедшем в прошлом году сборнике «Потерянный и обретённый свет»¹. То был первый — по крайней мере, в русской литературной истории — опыт исследования феномена слепоглухоты в формате *docupoetry*: парадоксального сочетания документа и поэтической, авторской его обработки, в результате чего документ — живая речь — принимает форму, близкую к верлибру, практически превращается в стихи, не бывши ими изначально и не имев такой цели. Так произошло и с монологами собеседников автора-поэта в «Потерянном и обретённом свете» — с тем, что они произносили в ответ на всего два вопроса: что было последним из того, что они увидели/ услышали прежде, чем утратили зрение/ слух, и что обрели взамен утраченного. Не видев материала в том его виде, что предшествовало обработке, не представляя себе, что при этом утрачивается (кроме разве заглавных букв и запятых) и что к нему добавляется, можно рискнуть предположить, что тексты подвергаются поэтическому сгущению, уплотнению, что в них наращивается напряжение, — этому способствует и разбиение их, подобно верлибру, на отдельные, разделяемые паузами, строки. Таким образом автор-составитель — сам остающийся за кадром — задаёт текстам иной ритм дыхания, — более близкий всё-таки, надо понимать, его собственному (на то он и автор, хотя и составитель), ритм, более соответствующий его пониманию и чувству обсуждаемого предмета, — и сообщает текстам таким образом стилистическое, интонационное, — в конечном счёте, эстетическое единство. При всей (пронзительной, мучительной) единственности каждой из таких историй сама общность их организации всё-таки ведёт к тому, что внимание сосредоточивается больше на проблеме как таковой, чем на жизнях и личностях тех, кому пришлось иметь с нею дело, и текст, получающийся в результате, оказывается — и вполне намеренно — ближе к искусству, чем к той жизни, которая стала его источником. Каждая история — уже в силу обретения ею поэтического статуса — дорастает до формулы.

¹ Владимир Коркунов. Потерянный и обретённый свет: монологи слепоглухих людей. — СПб.: Jaromir Hladik press, 2024.

Не то в новой книге. У неё, кстати, с предыдущей есть общие персонажи: литератор, художник (!), актриса, организатор перформансов, режиссёр, музыкант, танцовщица (!!), психолог, полиглот (владеет более чем десятью языками! — «нет шумов и визуальных отвлечений — ничто не мешает запоминать») Ирина Поволоцкая (это не полный перечень её умений — «занималась и боевыми искусствами», например); поэт, эссеист, актриса Алёна Капустьян; библиотекарь и писательница Любовь Малофеева; теоретик права и поэт Николай Кузнецов... (Но есть и новые, например, знаменитый воспитанник Загорского детского дома-интерната для слепоглухих детей, доктор психологических наук, поэт Александр Суворов, «тотально слепоглухой», преподававший «до самых последних дней»; журналист Владимир Рачкин...), и опыт выговаривается, по существу, тот же самый. Однако тут он выговаривается в гораздо более полном объёме: каждый из собеседников рассказывает свою жизнь в целом — да, очень во многом сформированную слепоглухотой, но никоим образом к ней не сводящуюся. И все они теперь говорят собственными голосами, в собственной манере, с собственными интонациями. Более того, здесь перед интервью автор (он всё ещё автор, потому что и идея его, и вопросы его, и умение выстроить из всего сказанного целое — тоже его) помещает портреты своих собеседников, а внутри текста ещё — фотографии из их прошлой жизни, начиная с детства. Показаны даже репродукции некоторых картин Ирины Поволоцкой — увы, репродукции неважного качества и, что самое печальное, — не в цвете. Этого очень жаль, тем более что, по словам самой художницы, цвет она, не видя его глазами, — чувствует (и можно догадаться, что его роль в её картинах, в их динамике — а они динамичны! — значительна). Впрочем, некоторое представление они всё-таки дают — и об эстетике самой художницы, и о том, как вообще невидящий человек представляет себе мир зрячих. Удивительно ли: Ирина представляет его себе с высокой степенью точности.

(И это ещё не самое удивительное. «Тотально слепоглухой Владимир Елфимов (к тому же лишённый обоняния) способен ремонтировать электрику. <...> Николай Кузнецов может повторить лекцию, не записывая её. Алёна Капустьян по потаюти руки определит рост, вес и настроение человека».)

Это я не к тому, будто вторая книга лучше первой. Она прежде всего другая (хотя мне кажется, что свобода от художественных задач идёт всё-таки на пользу делу понимания) и существенным образом ту, первую, дополняет (было бы логично издать их однажды под общей обложкой — как две позиции в отношении одного и того же материала, как два способа понимать). Кстати, из той книги в новую взят один «докупоэтический» монолог — Любви Малофеевой.

Книга, на самом деле, трудная. Можно даже сказать — трагическая, есть основания и для этого. При этом — удивительно ли? — из героев книги не жалуется ни один. Включая тех, кому кроме слепоглухоты достались ещё и другие несчастья: невозможность передвигаться без инвалидной коляски (Наталья Демьяненко; Александр Суворов, рассказывающий о себе: «больной позвоночник, уши и глаза, атрофия зрительных и слуховых нервов, боли в спине очень сильные. Прогрессирующая атаксия — головокружение <...> А ещё и метеозависимый, очень мучаюсь»); самоубийство жены (Владимир Рачкин), ампутация ноги (Галина Ушакова), ребёнок-инвалид (Любовь Молодых). Да, они честно говорят о своих трудностях и страданиях — но лишь постольку, поскольку этой темы вообще не миновать. И без драматизации — настолько, что впору подумать, что эти люди вообще существенно конструктивнее среднестатистических нас, видящих-слышающих. Не просто сильнее, а именно конструктивнее: многократно внимательнее к собственным ресурсам (как и к тому

миру, что остаётся доступным для них в имеющихся каналах восприятия), многократно тщательнее и упорнее в их использовании.

На вопрос о том, чем, по её мнению, различаются мир зрячеслышащих и тот, что скрыт «за тишиной и темнотой», Ирина Поволоцкая, знавшая оба мира, утратившая слух в раннем детстве, «а небольшой остаток зрения — в зрелом возрасте», отвечает, что различаются они «отношениями и способами общения».

Она же — признавая, что да, ослепнув полностью в сорок четыре года, прошла через депрессию, — говорит: «Если смертельную опасность можно преодолеть и выжить, то, пройдя через ослепление, можно стать только сильнее. Главное, иметь в жизни более высокие цели, чем материальное благополучие и наслаждение».

Слово «ограничения» и всяческие его синонимы не произносятся в принципе. Слово «зависимость» несколько раз возникает — «зависимость от людей, которые помогают жить». Но не более того. (И — как будто зрячие-слышащие от других не зависят!) Безмятежности в принятии этого неотменимого обстоятельства, впрочем, тоже нет: «Зависимость угнетает, — говорит Любовь Малофеева, — создаёт конфликтные ситуации и, как следствие, — провоцирует депрессию. Родственники и друзья, какими бы хорошими ни были, не могут посвятить жизнь слепоглохому человеку, раствориться в его нуждах и потребностях. За это их ни в коем случае нельзя осуждать».

Это всё никоим образом, конечно, не означает, что собеседникам Коркунова незнакомо отчаяние и безнадежный протест против собственной участи. Просто, похоже, им помогает выжить и жить уже само то, что они не делают всего этого своей позицией, тем более — заявляемой публично. «...Инвалиды с остатком зрения и/или слуха, — замечает Наталья Демьяненко, — гораздо чаще оплакивают свои “невозможности”, чем тотальники. А почему — не знаю».

Видимо, потому, что для «тотальников», оказавшихся в радикально сложной ситуации, упорство и гордость — важнейшие условия жизни.

Самое поразительное: некоторые из них говорят об окончательной утрате зрения и слуха как об освобождении. Идея, кстати, не новая, а к западу от наших границ даже распространённая: по словам Коркунова, на Западе слепоглохие в связи с этим «часто говорят не о потере <...>, а об обретении чего-то нового в жизни». Наталья Кремнёва, журналист, главный редактор журнала для слепоглохих «Ваш собеседник», это подтверждает: «У меня была и есть некая внутренняя свобода. Я незаметно избавилась от комплексов. Пока слышала и оставалось зрение, постоянно пыталась скрывать проблемы. А когда ничего не осталось, то и скрывать стало нечего. У меня прямо груз с души свалился».

О самой Кремнёвой автор говорит: «Я не видел более грамотного слепоглохого человека с более поставленной речью, в которой понятно каждое слово (при том, что Наталья Борисовна не слышит себя более тридцати лет)».

«Круг знакомых с наступлением слепоты расширился, — сообщает Любовь Молодых. — <...> Вы, к примеру, замечали, что незрячие куда больше начитанны, чем многие из зрячих?»

Кстати: читатель заметит, что из употребительного некогда — ещё на нашей памяти, несколько десятилетий назад — выражения «слепоглохонемые» выпал наконец последний компонент: «немые». Теперь уже даже на уровне расхожего словоупотребления ясно, что никакие они не немые, у них есть языки — именно так, во множественном числе: пальцевая азбука «дактиль», дермография — это когда пальцем пишут буквы на ладони собеседника, а в Германии, например, код Лорма (это, объясняет автор, такой способ общения, «когда каждой точке на ладони

соответствует определённая буква». Наталья Демьяненко комментирует этот способ так: «Там напрягаться и вовсе не надо: берёшь ладонь собеседника и играешь, как на пианино». О принятом в России «дактиле», «пальцевой азбуке», овладение которой «требует долгой практики с обеих сторон», Демьяненко рассказывает, что у него даже есть интонации: «Когда человек злится, радуется, волнуется — всё отображается в напряжении пальцев, скорости, чёткости воспроизведения букв».

Вот что ещё здесь интересно: из высказываний респондентов сборника — которые почти все имеют отношение к тому или иному искусству, а некоторые и к нескольким, — становится ясно, что эстетическое чувство вообще и чувство красоты в частности не зависит от зрения и слуха, что они — не единственные и не привилегированные его источники, природа его другая; этому чувству достаточно, чтобы был хоть какой-то канал восприятия (в рабочем порядке сформулируем так: есть некоторое ядро в сознании, которое всё и определяет). «Мир создан красивым, — говорит Наталья Демьяненко. — Это даже на ощупь ясно. Взять, например, листочек берёзы. Каждая прожилочка аккуратно выведена, резьба по краю такая, будто над ней долго работали. А если что-то сложнее, например, роза? Тончайшие нежные лепестки подогнаны друг к другу в изящную чашечку. Пальцами изучаешь — и дух захватывает. Какое должно быть впечатление, когда это видишь!»

А Галина Ушакова, родившаяся глухой («с первых минут жизни в тишине») и, соответственно, не слышавшая музыки никогда, — рассказывает: «Ощущаю только звуковые волны и вибрации. <...> Мой организм воспринимает музыку независимо от слуха и рук. Когда мне кажется, что в помещении приятная музыка, я спрашиваю какая. Потому что ощущаю спокойствие, умиротворение. А когда музыка хоть и тихая, но тяжёлая, начинаю нервничать. Позже спросила у семьи, в которой почти все — преподаватели музыки, может ли так быть? Ответ был утвердительным. Когда выхожу на сцену, могу воспринять громкую музыку через вибрации, но, если начинаю читать стих жёсткими, забываю обо всём, будто впадаю в транс».

Кроме того, во второй книге, наконец, виден и сам интервьюер. И очень интересно устройство позиции, из которой он задаёт вопросы своим собеседникам. Отчасти это позиция практического психолога — человека, помогающего своим собеседникам прояснить основные смыслы и ведущие силы их жизни, разобраться со своими чувствами. («Вам было страшно?» — спрашивает он у одного из респондентов, рассказывающего о том, как он в детстве терял слух; «Каково это — понимать, что в какой-то момент полностью лишишься зрения и слуха?», но и: «Когда поняли, что влюбились?», «Кто у вас в семье главный?», «Какой вы представляете себя и какой хотите быть?», «А вас лично можно назвать счастливым человеком?».) В значительной степени это и позиция журналиста: он интересуется жизнью сообщества слепоглухих («В 1992 году Сергей Сироткин создал Общество помощи слепоглухим людям (позже оно получило название “Эльвира”). А в 1998 году появился “Ушер-форум”. Вы были среди учредителей. Чем занимались в ту пору?»; спрашивает о том, какими были обучение и внеучебная жизнь в Загорском детском доме для слепоглухонемых¹ и в других интернатах для детей с такими особенностями (увы, эти воспоминания не всегда счастливые), как удавалось получать высшее образование. Наконец, он спрашивает советов практического порядка для тех, кто оказывается в такой же ситуации: «Как незрячему ребёнку/подростку не отставать от зрячих друзей?», «Что можете сказать тем людям, которые после наступления слепоглухоты

¹ Сейчас у него другое название: Семейный центр имени Александра Мешерякова.

отгораживаются от мира?» (и даже те, кто советы давать отказывается — как, например, Любовь Малофеева: «Не люблю давать советы», — всё-таки их дают: «Главное, — говорит она, — чтобы человек двигался вперёд, несмотря ни на что. Иначе это грозит деградацией личности»), а также для тех, кто с ними общается: «Как зрячеслышащим подойти и заговорить со слепоглухим человеком? Как этично предложить помощь?».

Таким образом Коркунов проясняет для общекультурного сознания, как устроено мировосприятие тех, кто не видит и не слышит («О чём мечтают слепоглухие люди?»), как они справляются с повседневными задачами («Как слепоглухие люди пользуются смартфонами?», «Как ориентируетесь в пространстве?», «Вот вы, например, в одиночку пришли в магазин. Как выбрать нужный товар? Как оплатить?»), и шире: как вообще принять свою ситуацию, если она не изначально («...Синдром Ушера окончательно лишил вас слуха. Позже ушло зрение. Как привыкнуть к этому?»). Он расширяет общекультурные рамки, сокрушает шаблоны, убирает (неминуемые, на самом деле) страхи перед неизвестным, а потому и непонятным. Журналиста такого типа можно смело назвать журналистом-исследователем. В какой-то мере он и социолог («Кем были ваши родители?», «А каким было ваше детство?», «Вас буквально окружали культурой и знаниями?», «Каким был ваш круг чтения?», «Много ли у вас было друзей?»), и даже медик («У вас выявили синдром Ушера — генетическое заболевание, которое приводит к полной потере слуха и зрения. А как в детстве и юности проявлялись симптомы?», «Чем синдром Ушера принципиально отличается от других заболеваний, поражающих зрение и слух?»). Конечно, есть неминуемые вопросы о том, как жизненная ситуация его респондентов видится изнутри и извне: «Каково это — быть слепоглухим человеком?», «Что самое сложное в состоянии невидения?», «Назовите три стереотипа о слепоглухих людях» (кстати, стереотипы — по свидетельству Натальи Кремнёвой — таковы: «Они беспомощны, обращаться с ними нужно как с детьми, а если они накормлены, одеты и живут в тепле, больше им ничего не нужно». Все три этих положения — неправда).

Ирина Поволоцкая на вопрос о том, каково быть слепоглухой, отвечает: «Для меня это значит получать больше информации от тактильных, вкусовых и обонятельных ощущений. От “вибраций мира” — интуитивно, через эмпатию; имею в виду те каналы, на которые зрячие и слышащие обычно не обращают внимания». Любовь Малофеева в ответ на тот же вопрос предлагает жёсткую, компактную и конструктивную формулировку: «Для меня это рамки, которые я пытаюсь расширить». Наталья Демьяненко рассказывает о том, насколько обострены у невидящего и неслышащего человека те чувства, которые берут на себя труд его связи с миром: «Я обожаю поезда! Покачивание под стук колёс — словно шампанское, которое пьянит. А главное — само место, куда приезжаешь: узнаёшь, чем пахнет город, какие здесь люди. Даже вкус еды, воды и алкоголя везде свой. А солнце... Его тепло в Крыму, Махачкале и Питере совсем разное». А Алёна Капустьян и вовсе считает слепоглухоту не просто «мудрой», но ещё и «прекрасной» (да, этому предшествовал не один кризис, но она все их преодолела) и произносит следующее: «Представьте: вы гуляете под ночным небом, усыпанным звёздами, но не замечаете красоту. А позже — не зная зачем — поднимаете голову. Так и у меня со слепоглухотой. В Космосе столько всего: галактики, планеты, астероиды, квазары... Он таит в себе множество информации. Чтобы детально узнать о чём-то, нужно это изучать. Моя слепоглухота тоже не до конца изучена, но я её благодарю и с гордостью рассказываю о ней. Как про Космос. Проблемы никуда не делись, зато я чувствую себя закалённой жизнью и твёрдо

убеждена: невозможное может быть возможным, а недостижимое — достижимым». И даже: «Слепоглухота прекраснее зримых красот».

Дело даже не в том, что Коркунов демаргинализирует, дезкзотизирует своих собеседников — хотя, разумеется, и это он тоже делает. Важно, что в разговорах с ними он, в конечном счёте, выходит за пределы слепоглухоты — спрашивая, например: «Что самое важное в тексте?», «Что для вас поэзия?» (вариант: «Что для вас поэзия, а что — живопись?»), «Что вы чувствуете, когда работаете над новым текстом? Как происходит такая работа?», «Назовите любимых вами отечественных и зарубежных поэтов» (кстати: все его респонденты — пишущие), «Вы рассказывали, что любите лошадей. Чем они оказались вам близки?», «Как относишься к знакомствам в сети?», «Вы организуете перформансы, режиссируете постановки. Расскажите о творческой кухне?», «Театр помогает добиться гармонии?», «Что ты находишь в путешествиях?», «В “Независимой газете” есть рубрика “Главкнига”¹ (раньше у неё был подзаголовок “Чтение, которое изменило жизнь”. А у вас была такая?», «Что вам приносит счастье?», «Верите ли в технологическое будущее?», «Что бы вы сказали миру, будь у вас такая возможность?», и даже «А кто есть Бог для вас?». Всё это совершенно соответствует лежащему в основе книги представлению, согласно которому в человеке, вообще-то, главное не то, с помощью каких именно органов чувств он воспринимает мир и чего он при этом не воспринимает; главное — то, что он человек.

«...Нельзя говорить, мол, познакомился со слепоглухим артистом или слепоглухим скульптором; нужно сказать: с артистом/скульптором, поставив личность на первое место».

И да, он принципиально избегает слова «инвалид». Он не употребляет его вообще. Респонденты иногда произносят — но именно что дистанцируясь от этого слова и всего, что с ним обыкновенно связывается: «Я всегда морщусь, — говорит писательница Наталья Демьяненко, — когда читаю: несмотря на инвалидность, он смог стать таким, как все. Получается, человек прилагал усилия, чтобы не выделяться из общей массы? <...> Человек рождается *иным*, с определёнными способностями. А на какую сторону встанет, светлую или тёмную, зависит от его личных качеств: амбициозности, эгоизма, склонности к альтруизму и т.д. У нас примерно так же».

И ведь не возразишь.

А книга, конечно, прежде всего о понимании — о взаимном понимании людей с очень различным опытом в условиях почти невозможности такового (в этом смысле так ли важно, что именно делает взаимопонимание проблематичным?). Александр Суворов, всю жизнь работавший ради того, чтобы слепоглухих лучше понимали, рассказывает: «Когда ездил в Америку, нам сказали, что зрячеслышащие слепоглухих понять не могут, что это невозможно. И там делается упор на то, чтобы помочь слепоглухим людям встретиться, общаться друг с другом, а зрячеслышащие будут только посредниками. Я категорически против такого подхода! Зрячеслышащим надо знать о наших трудностях и недоразумениях, которые постоянно возникают. И вместе с нами их преодолевать. Вселенные должны встречаться дружески, а главное — с полным пониманием друг друга».

И это, кажется, важнее любой литературы.

¹ Строго говоря, это рубрика не самой «Независимой газеты», а книжного приложения к ней «НГ-Ex Libris».

Борис Минаев

Да здравствует цирк!

В одном из старых спектаклей театра «Школа современной пьесы» у Иосифа Райхельгауза был такой момент, когда на сцене показывали самые настоящие фокусы. Покойный Рафаэль Циталашвили, прославленный иллюзионист, много работал в цирке, выступал по телевидению. Он выходил — и по сцене летали карты, в руках у него зажигались большие огни, да чего только не было. Собравшиеся за столом персонажи (не помню, была ли то «Чайка» или «Три сестры», в общем, Чехов), от души хлопали ему вместе с публикой в зале.

Я тогда подумал: конечно, никакой актёрской игрой, никакой драматургией это древнее искусство перешибить нельзя. Оно гипнотизирует, шокирует, отменяя, по сути дела, сам спектакль. Делая дальнейшую игру весьма рискованной: на этом мощном фоне легко и сфальшивить.

Клоунада как искусство, вообще говоря, давно стала частью театрального процесса — это уже почти аксиома. В московском театре «Эрмитаж» прямо в зрительном зале висят огромные портреты клоунов — Леонида Енгибарова, Юрия Никулина, Олега Попова, Марселя Марсо, вечных учителей, вечных собеседников главного режиссера Михаила Левитина. Клоунское начало — едва ли не в каждом спектакле. Эксцентрика и эквилибр — часть его эстетики. Сценическое движение в этом театре — на грани риска, на грани возможного, актёры почти летают над сценой. Из обычной роли то и дело возникает клоунская реприза.

Смешное у Левитина очень часто переходит в трагическое — как и положено в настоящем цирке.

Да и сам репертуар опирается во многом на смеховую и почти цирковую традицию — Хармс, Коваль, Зощенко и другие. Трюки и акробатика в порядке вещей, например, в спектакле «Господин Мокинпот».

...Недавно писал об очень серьезной и непростой работе Театра Наций — «Дон Кихот» в постановке Антона Фёдорова.

Так вот, Дон Кихот в исполнении Тимофея Трибунцева в этом спектакле — чистой воды трагический клоун. Клоунская пластика, клоунская мимика, походка, голос — практически все. Да, я бы очень хотел увидеть *такого* клоуна на арене. В игре Трибунцева как бы собраны воедино все лучшие моменты из той клоунады, которую мы знаем с детства. И это было оправдано режиссёрским замыслом — в фёдоровском «Дон Кихоте» знаменитый идадьго смешон, нелеп, страшен, иногда отвратителен, тем выше и острее контраст с его трагическими размышлениями о жизни.

У многих режиссёров актёры как бы «играют в цирк»: жонглируют, смешно падают, по-клоунски кричат и смешат. Могу вспомнить Михаила Ефремова в трагикомическом спектакле «Амстердам» по пьесе Александра Галина — вот уж где была клоунада высочайшей пробы.

...Ну а что же сам цирк?

Вот купил билеты.

Но, прежде чем идти с одной юной особой на представление, я спросил у своего друга писателя Льва Яковлева, который в свое время много писал для цирка — и репризы, и сценарии:

— Скажи, а в цирке что-то изменилось с тех пор? Ну там... какие-то современные веяния?

— А там не может ничего измениться, — спокойно ответил он. — Понимаешь, если человек умеет ходить по канату, держать равновесие, выполнять трюки, он уже не сможет разучиться или делать это как-то иначе. Цирк — это вечная штука. Его нельзя изменить...

В Большом московском цирке на Проспекте Вернадского давали представление «И100рия», посвященное столетию советского цирка. В «живой цирк», признаюсь, я ходил лишь несколько раз в жизни: в детстве, с папой и мамой, со своими детьми, и вот теперь с внучкой. Но мы — первое телевизионное поколение — советский цирк всё же знаем очень хорошо. Его часто показывали по тому, советскому, телевидению. И там было на что посмотреть. Многие номера запомнились навсегда. И удивительное дело: чёрно-белый «Старт» передавал все краски цирка, весь его феерический звукоряд, все его живые контрасты — благодаря выдающейся работе операторов и режиссёров.

Формула моего друга Льва, с одной стороны, конечно, абсолютно верна — цирк не может измениться в чём-то главном. Но, посмотрев внимательно эти два с половиной часа, я могу сказать: кое-что всё-таки в цирке изменилось. Что-то стало по-другому.

По частностям: не увидел иллюзионистов, тех самых фокусников, наследников Рафаэля. Вместо них — удивительный робот-собака, который прыгает через кольцо, падает на бок, в общем, практически имитирует (или пародирует) знаменитый номер братьев Запашных, который тоже здесь был, со львами и тиграми. Робот, конечно, веяние времени, а иллюзия — ну что же делать, может быть, в век «цифры», виртуальной реальности настоящие иллюзионисты уходят в прошлое? Остался вопрос. Ещё мелочь: не хватило пауз в партитуре — полная тишина и барабанные палочки перед решающим прыжком. Очень ждал, но увы. Даже продвинутая игра живого оркестра с изысканной музыкой не может этого заменить.

Ковёрные (клоуны) после стольких лет телевизионного комикования уже не претендуют на то, чтобы рассмешить вас до колик, и уж тем более на то, чтобы напомнить о каких-то явлениях «жизни и общества», вызвать «взрослый смех». Предваряя и пародируя следующие за ними номера, они просто обволакивают представление в некий ироничный флёр, явно не лишний — ведь цирк, в своей основе, где люди каждый день рискуют, всё-таки очень серьёзен (клоуны Николай Кормильцев, Борис Никишкин и другие). Иногда это получается очень изящно, особенно там, где в дело вступает световая проекция, спецэффекты и... клоунская акробатика.

Впрочем, фигур, равных Юрию Никулину или Олегу Попову, в цирке нет давно. Так же, как среди бардов нет Окуджавы или Высоцкого.

Всё-таки кое-что повторить нельзя, просто невозможно.

«Замечания» или «заметки на полях» на этом и кончаются — львы и тигры братьев Запашных, дрессированные слоны, исполнявшие слоновий балет, конные джигиты под управлением Якова Экка, жонглёры под руководством Елены Бараненко, воздушные акробаты, канатоходцы, эквилибристы, — всё это на самом высочайшем уровне, и оторваться было невозможно. Основная эмоция, которую вызывают эти номера, действительно неизменна: восхищение. Восхищение тем, что человек может всё.

...Однако было в «И100рии» в Большом цирке на Вернадского нечто, по-настоящему удивившее. Не менее важным элементом представления оказалась сама режиссура и не менее важными, чем дрессировщики, акробаты и жонглёры, оказались артисты кордебалета. Здесь тоже всё на высоком уровне: декорации, игра света, цирковая машинерия, например, замечательные балерины, сопровождающие выступления слонов, крутятся в «музыкальных шкатулках», расставленных в огромном пространстве по всему залу, — и это замечательно, красиво и точно.

Представление, режиссёром которого выступает Аскольд Запашный, рассказывает об истории цирка — в прологе дети читают огромную книгу, и первые костюмы и первые номера — они оттуда, из самой древней цирковой истории, такой как бы «архивный», «вычитанный» цирк.

Но чем дальше, тем больше «идея» и «замысел» подчиняют себе привычную смену цирковых жанров. А значит и режиссура, хореография, работа художника по костюмам — становится всё веселее.

Цирк замахнулся на то, чтобы показать нам историю XX века — своим цирковым языком. Вот первые пионеры 1920-х годов выходят на линейку под лозунгом «Свобода, равенство, братство!», собирают металлолом, маршируют под горн и барабан. Вот парад физкультурников — все мы помним, что проходили они по Красной площади, и на трибуне стоял лучший друг всех физкультурников, но, слава богу, он тут не появляется.

А вот на арену выезжает «почти настоящий» танк. Гимнастёрки, танкистские шлемы, пилотки — именно с него, танка, прыгают и взлетают артисты следующего номера. Советское «будущее» (точнее, представление о нём) — явлено «столкновением цивилизаций», то есть инопланетянами и скафандрами космонавтов, стремлением к звездам, космической эстетикой в стиле диско.

Дети (они, как всегда, составляют почти половину зала) вряд ли прочитают все эти аллюзии и реминисценции, для них важна суть, а суть, как нам уже известно, в цирке остается неизменной: «человек может всё».

Но что же взрослые?

Какую мысль вынес из шоу лично я? («Цирк» и «мысль» — непривычное сочетание, но тут оно оправданно, спектакль-то очень режиссёрский.)

«Цирк!» — говорим мы, когда кто-то врет и фиглярствует на экране телевизора или в жизни. «Цирк!» — это когда притворяются и совершают вещи, за которые потом ещё долго будет стыдно. Да, «человек может всё», но, увы, уже совсем в другом смысле.

Но настоящий цирк не имеет к этому отношения, он всегда честен.

И честный цирк в этом шоу говорит нам простую вещь — *всё пройдёт*. Одна эпоха сменится другой, один исторический период следующим, «тяжелые времена» не вечны, так же как и «эпоха надежд» не вечна, «парад физкультурников» уступит место концерту Пола Маккартни на Красной площади, вера в инопланетян — ожиданию климатического коллапса, неизменным останется лишь прыжок в тревожную пустоту без страховки и игра волшебными шарами, останется настоящий, не виртуальный иллюзион (хоть в этом представлении его и нет) и покорные движения страшных тигров на манеже.

Честный цирк победит, а нечестный проиграет.

Недавно пронеслись страшные слухи, что цирк на Вернадского (как он сам себя величает в программке, «самый большой цирк в Европе», и вполне вероятно, это правда) будут разбирать. Сносить. Мол, устарела конструкция, построим другой.

На данный момент, слава богу, отбились.

Сходяв на представление, я могу сказать одно: не надо его разбирать.

Summary

Vladimir Lim. The Last Nomad's Camp

"Cowboys of tundra and the last nomads of the North" — that's what they call Evens for riding deer and shooting straight. When bolsheviks came to their territories one Even family with their sacred objects and their deer herd ran away to the mountain tundra and came back only in 1962 when it was searched out from helicopters... The novel is about this family and its offspring. It opens with the episode when a small squad of Evens and their Russian friends is going along some bear trail to scatter the ashes of the son of their Elder killed in the SMO over the river near their ancestral camp. On the way they meet armed bandits and poachers who are harvesting caviar illegally.

Poetry

The cycle of "Poems about Russian Poets" is a kind of portrait gallery Konstantin Komarov keeps on "painting" (see DN #3, 2023 and #11< 2024). This time his "models" are the poets of the second half of the XX and the beginning of the XXI centuries: Gleb Gorbovskij, Victor Sosnora, Nikolay Rubtsov, Vladimir Visotskij, Alexander Bashlachev, Alexander Eremenko...

In the thoughtful poetry of German Vlasov very different realities of today's life are closely interwoven.

Referring to the eternal theme of Life and Death Evgenij Chigrin is meditating over the fate of the books in his selection of poems "Captives under the Bookbindings".

"Biblionautics"

In this rubric Olga Balla presents the book by Vladimir Korkunov "I'm Speaking: conversations with deafblind people about the life, creativity and strength of mind". "Actually the book is hard, even tragic, one may say... They are frankly speaking about their difficulties and sufferings — but only because there is no way to escape this theme — without any dramatizing; the thought comes to mind that these people are much more constructive than average we — able to see and hear".

Boris Minaev. The History of the XX Century in the Language of Circus

This time Boris Minaev contemplates over not theatrical but circus show "History" in the Grand circus at the Vernadskij avenue. «In this show the circus tells us a very simple thing: *everything goes by, this too shall pass*. "Hard Times" are not eternal as well as "the epoch of hopes". "Sports parade" will give way to the concert of Paul McCartney in the Red Square, the belief in aliens — to the expectation of the climate collapse. What will stay unailing is only the jump into the alarming void without the anchor slings and playing with magic balls».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Бумажную версию журнала «Дружба народов»
с любого месяца можно выписать онлайн на сайте **Почты России**
<https://podpiska.pochta.ru/press/%D0%9F%D0%A0044>

Подписной индекс в каталоге **Почты России — ПРО44**

Электронную версию «ДН» можно приобрести на сайте
<http://дружбанародов.com>

Журнал продаётся в магазине «**Фаланстер**»

Москва, ул. Тверская, 17

(вход с Малого Гнездниковского переулка)

Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректурa: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РФ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»





Читайте:

Владимир Лим. Последнее кочевье. Роман

Тропа становилась шире, в две колеи, и пахла иногда машинным маслом. Но медведей это не отпугивало, да и изначально Тропу проложили они, с десятков тысячелетий назад, — кратчайший путь от таёжных горных своих берлог до быстрых лососёвых рек.

Людей они терпели, сторонились и напоминали своими кучами, оранжевыми от непереваренных остатков прошлогодней рябины, что настоящие хозяева этих мест — они.

Этот хрупкий мир был нарушен чужаками — браконьерами: уже четвёртый год, с началом пандемии, а потом и СВО на Украине, те гоняют здесь на квадроциклах, устраивают незаконную охоту на медведей, добывая шкуры, жёлчь, когти на сувениры и мясо для своих рыбобработчиков, перекрывших сетями заводи в реке.

И медведи стали злыми, уже не убегают, а заходят кругами в тыл людям, пытающимся выследить их. Несколько этих глупых чужаков они убили одним ударом тяжёлой лапы, оставили нетронутыми трупы и смятые карабины недалеко от Тропы — в назидание живым. И эвены теперь по одному и без собак не ходили, не шумели, как раньше, предупреждая разговором или песней медведя о своём приближении, оглядывались, потому что теперь Абача перестал быть дедушкой медведем, одним из нас, жителей тайги, озлобился на человека, и чтобы остановить его, пуля должна была обжечь ему морду.